

берега

Литературный альманах
выпуск второй

Потсдам – Берлин

1998

Берега

Литературный альманах
выпуск второй

ПОТСДАМ – БЕРЛИН

1998

Составитель сборника –
Алла Киселева

Редакционная коллегия:
Марлен Глинкин, Леонид Бердичевский,
Игорь Ачильдиев, Любовь Аксенова

Макет и верстка И. Малкиель

Совместное издание
Еврейской общины земли
Бранденбург
и
литературной студии
Еврейского культурного общества,
Берлин

**Wir danken der Ausländerbeauftragten der Stadt Potsdam (BVV)
für die Unterstützung, ohne die dieses Buch
nicht hätte erscheinen können.**

БЕРЕГА \ ОГЛАВЛЕНИЕ:

ПОЭЗИЯ

<i>Леонид Бердичевский</i>	4
<i>Наталья Горбатюк</i>	12
<i>Леонид Кац</i>	20
<i>Анна Осмоловская</i>	24
<i>Анжелла Подольская</i>	30
<i>Борис Розовский</i>	35
<i>Оксана Шереметьева</i>	39

ПРОЗА

<i>Любовь Аксенова</i> Старики. Еврейское счастье	43
<i>Евгений Вертель</i> Две Наташи	51
<i>Иосиф Вольфсон</i> История с географией. Бохадыр	57
<i>Марлен Глинкин</i> Иронические Рассказы	63
<i>Владислав Голков</i> Три байки из жизни Сергея Гладких	70
<i>Маргарита Их</i> Рассказы	77
<i>Алла Киселева</i> Рассказы	86
<i>Лев Миндлин</i> Склероз	95
<i>Михаил Погребинский</i> Отсрочка смерти. Разоблачение	106
<i>Анжелла Подольская</i> Купе на троих. Недопитый бренди	111
<i>Изира Рабинович</i> Ноктюрн	118
<i>Борис Черепашенец</i> Пахомчик	120

ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Игорь Ачильдиев</i> Очерки судьбы	124
<i>Алла Киселева</i> Странички израильского дневника	135

Леонид Бердичевский

ДЕМОНЫ ДУХА

«...как демоны глухонемые
ведут беседу меж собой».
Ф. Тютчев.

...они вторгаются стремглав,
без всякого предупреждения,
не как тупое наважденье,
а как невероятный сплав.

Нам не дано их разглядеть,
они для глаз непостижимы, –
загадочные анонимы, –
сопровождать нас будут впрямь.

Несут в себе особый знак.
И как здесь не насторожиться,
когда их множество кружится
и повергает всех в столбняк.

Все схожи, словно близнецы.
Они без ложного кокетства,
способны стать предвестьем
бедствий,
оставив за собой рубцы.

Без них ни шагу не ступить.
Они – флюиды огневые, –
как демоны глухонемые.
И нам не обуздать их прыть.

ОПРОКИНУТЫЙ СОНЕТ

Покорны все судьбе. Она права.
Знать у нее неограниченны права.
Одних все милует, других – карает.

Дорогим Тамаре и Рафу Айзенштадтам
в знак благодарности
С симпатией. Искренне. Леонид Бердичевский
14.06.2007. Berlin

Кто расточителен, кто крайне скуп,
кто жив и весел, кто ходячий труп,
она, наверняка, об этом знает...

Случаются с судьбою неполадки.
Порой не знает, что творит сама.
Хитрит коварно, не всегда пряма.
Наказывает часто без оглядки.

Иль запросто, шутя, играет в прятки.
Бывает вежлива, уступчива весьма,
то сводит неожиданно с ума,
то от нее дрожат, как в лихорадке.



Хоть вся в морщинах и едва жива
ни у кого не хватит просто духа
о ней сказать: «Ползет себе старуха»,—
швырнуть в нее тяжелые слова.

Ей скажут вслед, уверенно и прямо:
«Видать была красива и стройна
и юностью еще озарена,
как элегантна, пожилая дама».



Не надо заполнять собой весь мир.
Он без того и сер, и неопрятен.
На нем достаточно следов и пятен
и он, местами, весь протерт до дыр.

Он скучен, стар и многим непонятен.
И даже вновь явившийся кумир
не сможет предложить свой эликсир,
чтоб мир стал добр, учтив и аккуратен.

И, как ты не рядись в свой вицмундир
им не заштопаешь прорех и вмятин,
твой вопль будет жалок и невнятен,
а ты смешон, как спившийся факир.

Да, не очистить мир от темных патин.
Он выглядит подчас, как антимир.



В пути меня сопровождает ветер.
Он собеседник мой и мой партнер,
Так повелось у нас с давнишних пор
В прогулках наших всякий божий вечер.

Его упрекам возразить мне нечем.
Берет меня он часто на измор,
Как будто бы его я кредитор,
меня сражает логики картчью.

Я соглашаюсь. Он, как прежде, прав.
И так всегда. Меня атаковав,
к моим сомненьям он привычно чуток.

Велит все взвесить. Не конфликтовать.
Лишь сделать вывод правильный опять.
И привести в порядок свой рассудок.



Теперь ты знаешь, – все сплошной обман.
Он прояснится поздно или рано...
Тебе ночами снится Дон Жуан.
С ним хорошо. Он рядом, Донна Анна.
Ты пробуждаешься, укутана в мечту.
Кругом все те же потолок и стены,
и новый день. Он снова на посту,
готовит новые победы и измены.

ТРИОЛЕТ

В туманной дымке, как в лазурном сне
предстала ты скользящим силуэтом.
Остались мы с тобой наедине,
в туманной дымке, как в лазурном сне
простерла руки ты с мольбой ко мне,
они пронизаны прозрачным лунным светом;
в туманной дымке, как в лазурном сне
предстала ты скользящим силуэтом.

СОНЕТ О СОНЕТЕ

Я.Б.

Я углублен в четырнадцатистроичье,—
В его организованную связь.
Сквозною рифмой вышитую вязь,
Где все на месте. Нету многоточья.

В спрессованный кристалл его, воочью
В интриги сеть. В пылающую страсть.
В его неограниченную власть.
В его литье, наполненное мощью.

В начальных строфах, свято, непременно.
Замкнуты два хрустальные катрена,—
Сюжет его и ритм, и голова.

В последних – завершение сонета.
В них уместились два его терцета,—
Формальной логики граненные слова.

РОНДО

Слова летят в мои стихи, как птицы.
О чем-то сообщить они хотят.
Их стая над бумагою кружится.
Слова летят...
И дерзкий свой навязывают взгляд

на все события, действия и лица.
Свое, упрямо и настойчиво твердят.
Поверить вынуждают в небылицу.
В сюжет вливают разногласий яд.
И, так за вереницей вереница,
слова летят.

ГАЗЕЛИ

Шум, грохот и свист начинаются рано,
А я нахожусь в состоянии нирваны.

Ни меццо-сопрано, ни дробь барабана
Не выбьют меня из объятий нирваны.

Я, вроде бы, трезв, я несколько не пьяный.
Блаженство мое – ощущение нирваны.

Не думайте, здесь никакого обмана.
Я невозмутим, опустившись в нирвану.

Как радостно жить в оболочке тумана,
Себя целиком увлекая в нирвану.

Бываю разбитым, измятым и рваным,
Когда меня вдруг отпускает нирвана.

Вокруг дискомфорт, состояние дурмана.
Одно исцеление – общение с нирваной.

Я жду ее вновь, как небесную манну,
Чтоб снова душой окунуться в нирвану.



В цветочной вазе пять больших гвоздик.
Пять факелов различного пигмента,
подаренных для доброго момента,
который неожиданно возник.
Их пряный и пьянящий фимиам,
дурмящий до слезного восторга,
как запах специй шумного Востока,
тысячелетия известен нам.

Их теплотою обольщен хрусталь,
их колорит поет в хрустальных гранях.
Калейдоскопу праздничных мельканий
подчинена всей вазы вертикаль.

Дыханием цветов наполнен дом.
Они действительно для доброго момента
и не придумать лучше прецедента
для радости простой побыть вдвоем.



Поговори со мной о чем-нибудь.
О том, что было и о том, что будет.
И многое, прошу я, позабудь.
А время все расставит и рассудит.

Поговори о встрече, в добрый час.
Все прошлое уже умчалось в вечность.
Ко многому, прошу тебя, сейчас
Ты прояви свою добросердечность.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Скажите правду, в самом деле
всего семь суток на неделе?

Как семь чудес на белом свете,
на нашей маленькой планете.

А может просто семь мгновений,
для окончательных решений.

Чтоб сочинить семь добрых строчек,
переменить семь штук сорочек.

Чтобы затем семь раз отмерить,
лишь раз отрезать и поверить.

Семь раз подумать о хорошем,
чтоб стала жизнь посильной ношей.

Чтобы семь суток на неделе,
нам никогда не надоели!

БАЛЛАДА
ПОЭТИЧЕСКОГО ТУРНИРА
В БЛУА

(по мотивам Франсуа Вийона)

От жажды умираю над ручьем.
Ведь легкость не по мне, я в трудности играю.
И окружен всю жизнь я дурачем.
В чужом краю Отчизну забываю.
Я умных не люблю, я их боюсь.
Глупцы мне братья, к ним одним стремлюсь.
Не верю в доброту, а только во враждебность.
За циника и недруга молюсь...
Изгнать меня все чувствуют потребность.

Я скрытен, тайны при себе ношу.
Я безразличен, а к кому, не знаю.
Изрядно беден, но богатством я форшу.
И злomu умыслу с восторгом помогаю.
Мне слезы, как бальзам, улыбок не желаю.
Светло на улице, но свет мне душу жжет.
Мой мозг морозит зной, а сердце греет лед.
Лекарства пью, не вижу их целебность.
Крапива и полынь – мой огород...
Изгнать меня все чувствуют потребность.

Не замечаю тех, кто рядышком стоит.
А в небесах светила я считаю.
Ночами бодрствую, а днем сознание спит.
О смысле бытия всегда я забываю.
Реалиям и фактам я не доверяю.
Со мною те, кто правды не поймет.
Вбирая с жадностью велеречивый мед.
Я ощущаю здесь безмерную ущербность.

Ни с кем не дружен я, врагам потерян счет...
Изгнать меня все чувствуют потребность.

Я знаю: в схватке победит лишь тот,
Кто хитростью и ложью превзойдет.
Девизом у кого – коварство и неверность.
Трагизм и буффонада – мой полет...
Изгнать меня все чувствуют потребность.

КАРМЕН

(по мотивам Теофиля Готье)

Кармен – худющая гитана,
глаза – обугленный сапфир.
взгляд – вызов дерзкого смутьяна
и кожу ей дубил Сатир.

«В ней красоты нет даже следа» –
вот женщин жесткий приговор.
Но старый пастырь из Толедо
стоит пред ней потупя взор.

Ее лицо неординарно.
оно, как спелый абрикос.
Все тело, несколько вульгарно
завернуто в ручей волос.

С красоткой этой, полной жажды.
никто не в силах совладать.
Кто ею обладал однажды,
готов за ней хоть в ад бежать.

С ней все легко и быстротечно
и неудачи прежних лет
уходят прочь, ныряя в вечность,
под звук ритмичных кастаньет.

В ней все желания без меры,–
и прихоть, и любовь, и честь.
И впечатленье, что Венера
из пены возродилась здесь.

Наталья Горбатюк

ВЕСНА В ОДЕССЕ

Каштанов махровые грозди,
акации белые кисти...
Душистые майские гости
обняли зеленые листья.

Смотри, в черноземной опаре
томятся до лета левкой.
Весна на Приморском бульваре –
ты знаешь, что это такое?..

Когда кружевные дорожки
прогулочный катер качает,
и вкусные хлебные крошки –
добыча взбесившихся чаек.

На старой прославленной пушке
лоснится весеннее солнце,
и снова задумчивый Пушкин
глядит на дворец Воронцовский...

Когда на распевке весенней
звучат по-одесски непросто
бегущие к морю ступени –
чуть больше, чем сто девяносто...

Морские зеленые шквалы
бетон заключают в объятия,
где прежде янтарные скалы
ласкали их старшие братья.

Когда Воронцовская арка
взлетает в воздушном просторе,

как белая арфа... над парком,
над Дюком, над нами, над морем!
Седой Ланжерон, как в угаре,
прощается с зимним покоем...
Весна на Приморском бульваре –
я знаю, что это такое!



На березах и на елях
 снег растаял – был таков...
На серебряных качелях
 невесомых облаков –
в яркой солнечной рубашке,
 вихрем – чуб, в глазах – азарт,
с юным сердцем нараспашку
 закружился мальчик Март.



О ЛЮБВИ

Среди прочих, живущих со мною теней,
 нету тени лица твоего...
До прихода весны – только несколько дней,
 а возможно, – совсем ничего.
Среди будничных слов и парадных одежд,
 среди светлых и темных полос
до прихода любви – десять ведер надежд,
 или слез...



БЛАГОДАРЮ...

Я судьбе благодарна и очень,
днем и ночью, зимой и весной –

за глаза моей ласковой дочки
и за маму, что рядом со мной.

За апрель, что ворвался с порога,
по паркету скользя, как по льду,
и березовым ветром потрогал
непослушную челку на лбу.
За щемящую грусть на закате,
за луну в золотом парике,
и за белый прогулочный катер,
что как лебедь плывет по реке.

За решительность в самом начале,
а потом – за хороший испуг.
И за рифмы, что долго молчали,
над листом пролетали, как пух!
За пошадую в неистовом споре,
за кольцо на горячей руке –
и за то, что писала о море,
а теперь – о реке...

HEIMWEH

Откуда мы, зачем и кто такие?..

Хозяин я или гость судьбы своей?

И на немецком слово ностальгия

болит тоской по Родине. Heimweh.

А может быть, по детству – ласка, нега.

По совершенству – где он, идеал?

По мальчику, который из-под снега

тебе цветы весенние достал...

По юности с волнующе-манящим

бесчинством волн седой морской воды,

по желтым скалам, бережно хранящим

твоих друзей прозрачные следы,

где близкие и молодые, и живы,

и наша общность выше всех искусств,

где вдохновенья рвущиеся жилы

взрывали не востребованность чувств!

И безрассудство, и неосторожность
во всем, что сделал ты или не смог...
А если вдруг счастливую возможность
начать сначала жизнь послал мне Бог...
Земля одна. Здесь в мае тоже грозы.
Семья и дом. Порядок и уют.
Но по ночам немецкие березы
мне песни украинские поют...



Заколдованная рифма –
молодой травы побег,
нарастающего ритма
удивительный разбег.

Рифмам в такт – удары сердца,
то – погромче, то – тихи.
Вмиг – замерзнуть, вмиг – согреться...
Так рождаются стихи.

КАРТИНА

Ах, морская акварель,
ты не скрипка, а свирель,
полутон и полутень,
полуночь и полудень.

Полу-ангел, полумаг
влажной кистью сделал взмах –
тайну мастера храня,
брызжет море на меня!!!

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Травинка – зеленый хвостик,
асфальтовый бугорок,
мы обе с тобою гости
среди скоростных дорог.

Из рек придорожной пыли
не слишком хорош улов, –
мы песни свои не пили
из лужиц бесстрастных слов.

Тоска городских пейзажей,
печаль тополиных крон,
и в порах – крупинки сажки,
и вместо травы – гудрон.

РОМАШКА

Я помню, хоть годы прошли, и поныне
горчащие капли при каждом глотке, –
корова Ромашка наелась полыни.
Полынь Казантипа – в ее молоке.

Ругали корову. – Ну разве не дура,
объелась обветренной горькой травой? –
Надменно кудахтали белые куры,
и грозный индюк сотрясал головой.

И только Ромашка, не ведая горя,
хвостом обнимала крутые бока,
и приняли волны Азовского моря
ведро молодого ее молока.

Вечерняя свежесть пьянящей отравы,
разбросанных звезд голубое драже,
высокие, сочные, горькие травы
шумели и пели в коровьей душе...



“С понедельника до пятницы
слишком долго время тянется”, –
говорила маме девочка,
широко раскрыв глаза.
И над острыми ресницами
поднимались брови птицами,

и часы стальными спицами
кто-то медленно вязал
“С понедельника до пятницы,
словно мячик, время катится”, –
отвечала дочке женщина,
глядя в синее окно, –
“Как мелькают быстро пятницы,
вот ты выросла из платица,..”
И без усталости вращается
наших дней веретено!

МАМЕ

Окунулись деревья в туман,
белый лебедь застыл на реке,
предрассветных минут талисман
держит утро в прохладной руке.

С занавесок на сонном окне
исчезает последняя тень,
и в густом кружевном волокне
просыпается мартовский день.



Раскрылась неба синяя фланель
бескупольно, безбрежно и бездонно! –
Я видела Сикстинскую Мадонну –
назначил мне свиданье Рафаэль...

Без рамы, без опеки, без стекла, –
глаза – в глаза! Как-будто наважденье!
Но Господи, какое наслажденье!
И старый Дрезден бил в колокола...



Ночь через форточку залезла
и, зацепившись за карниз,
скатилась по портьерам в кресла,
коленки – вверх, ладони – вниз.
Вломилась в дом почти незвано
и вот, запыхавшись, сопит...
В углу просторного дивана
мой пес, похрапывая, спит.
Торшер уткнулся длинной шеей
в ее графитовый подол,
и от вечерних подношений
уставший, отдыхает стол.
Лилово-темным креслом
присело небо на балкон,
лишь запоздалые машины,
ворча, тревожат чей-то сон...
Я – в ожидании, я с теми,
кто злые мысли гонит прочь,
и, жадно вглядываясь в темень,
встречает сына или дочь...

НОВОГОДНЕЕ

Невидимой нитью, неведомой гранью,
глазами и сердцем, дыханьем и кожей,
и счастьем, и горем, и бурей желаний –
мы, разные люди, наверно, похожи.

Сменяют друг друга четыре Адвента,
мерцают в домах ханукальные свечи,
и елки в игрушках, в серебряных лентах
уже приближают рождественский вечер.

Ах, чудное время, из детства как-будто...
Гирлянды, шары, новогодние маски...
И год истекает последней минутой –
Декабрь-полубыль и декабрь-полусказка.

И снова подарки от деда Мороза
приносят любимые мамыны руки.

И взгляд в неизвестность. С мольбой и вопросом побольше б
любви и поменьше разлуки!

И с разною верой, и с разною кожей,
и разного поля, и разного рода
мы, в этот момент бесконечно похожи,
стоим на пороге грядущего года...



*Берлин – Бранденбургскому обществу
иностранцев посвящается*

Средь узких улочек, заброшенных дворов,
безмолвных окон с темными глазами
неброский флигель, как последний кров,
свою эмблему вскинул парусами.

Ах, шар земной в сияньи голубом,
пульсируя как сердце человекье,
ты зазвучал, войдя в немецкий дом,
вьетнамской, португальской, русской речью,

еврейской песней, шелестом берез,
простором волжским, ветром Казахстана,
дыханьем гор, ручьем боснийских слез,
цветеньем белым киевских каштанов.

И счастьем, и надеждой, и трудом,
всей болью человеческих мучений
доказывая, что Земля – наш дом,
единый дом для всех. Без исключений.

Леонид Кац

переводы

из Тео Индер Смиттена



Издаюка вернулс я,
Где только не бывал!
Но, где бы ни был я, друзья,
Ее не забывал.

Весной в один из ясных дней
Мы пашнею прошли,
И запах был всего сильней
От сохнушей земли,

Цинично, пакостно шутить
Со мною начала...
Не смог тогда предположить,
Как женщина нагла.

Я мерзкой, грязной шутки той
Никак не ожидал;
Она представилась другой,
И ореол пропал.

Весь гнев свой выплеснул до дна -
Сдержаться я не смог:
Бесстыжих женщин, как она,
Наказывает Бог.

И, сколько помню я себя,
Хоть был тогда не прав,
Впервые выругался я,
Слова все растеряв.



И сладкое приятно,
И горечь не запрет,

И было непонятно —
Одобрить или нет?
Да, я пишу невнятно,
Но полон чувств сонет.
Его не стал я разъяснять,
Но ты стихи решила взять.

.....
Моим стихам внимала,
Найдя во мне талант,
Сонеты принимала,
Совсем как Меценат!
Меня разволновала —
Был счастлив я и рад!
Стихами буду счастлив я
Тебя привлечь в свои друзья.

.....
Любви истоки — в дансинге,
Где танцев обаяние.
А ты пленила Гансика
К моим стихам вниманием.
А на прощание — куплет,
Который завершит сонет:

Когда усилъя напрягу,
Еще шедевр создать смогу.



Мы — дочь учителя и я —
Играли часто вместе
И довозил к ней в дом меня
Мгновенно конь из жести.

И вдоль, и поперек я знал
Ее красивый дом.
Там в кошки-мышки с ней играл
И был ее рабом.
А в летний день я выходил,
С ней во дворе играл.
О Верности не говорил
И о Любви молчал.

И птиц в осенний перелет
Я с нею провожал.
И пестрой ярмарки приход,
И многолюдья ждал.

А сласти кажутся вкусней
Для лакомок зимой.
Был с виду равнодушен к ней,
В душе же — сам не свой.

Перевернул мне сердце Бог,
Когда прощался с ней.
Перебороть себя не смог:
Что может быть грустней?

ИГРА В СЛОВА

Сок яблочный сладок лишь летом,
Дым вьющийся — жизнь выдает.
От зимней любви — есть примета —
Жизнь летом начало берет.

Премудрости старцев, конечно,
Признаюсь: еще не достиг.
Поэтому вечность беспечно
Отринул, как водится, вмиг.

Но я. приземленный безмерно,
Томительной жаждою полн,
Индийская мудрость, наверно,
Потеряна в рокоте волн.

Над крышей дымки — значит, лето,
И сладостна яблока кровь.
И лето, и жизни приметы —
Всё объединяет любовь.



Всю ночь я слушал сердца стук.
Ни отдыха, ни сна.
Что ж принесло мне столько мук?
Причина — ты одна.

Назавтра от тебя уйду.
И сердце вторит мне,
Хоть в этом смысла не найду.
Вот и забыл о сне.



Жестоко пошутил друг мой,
И шутка повторялась.
В ответ пришлось шутить самой —
Что мне еще осталось?
Достигла в том таких высот,
Что друг страдает от острог.



Из Евы ШРИТТМАТТЕР

САМОКРИТИКА

Испортил себе настроенье,
И радости голос умолк:
Есть повод такого волнения —
Живого ягненка съел волк.

Ведь жили во мне они оба,
Но только какой в этом толк!
Был полон надеждою, чтобы
Дружили ягненок и волк.

Анна Осмоловская

НЕЧИСТАЯ СОВЕСТЬ.

Веселье,
 Публика пьяна.
Роскошный пир иль может бал.
В разгар является она,
Приход чей слишком запоздал.

Ее не жду. Зачем нужна?
Не думаю в сей час о ней.
Нет в мыслях, что примчит она
На тройке вороных коней.

Глазами темными блеснет.
Вся в черном. Что она таит?
И незаметно проскользнет,
И за спиною постоит.

Как будто, что-то ей должна.
Вот память! Помнит все она.
За давностью — я не грешна.
Не знаю, в чем моя вина.

Пир жизни — годы напролет.
Она ж как тень: бледна, молчит.
И вот однажды запоет
И в общем гуле зазвучит.

Сначала робко, словно стон
Или ребенка тихий плач,
Сквозь смех, бокалов перезвон,
Но зреет в стоне том палач.

Все зычней, словно сонм сирен
Гудит и сотрясает мир,

Берет в неодолимый плен.
Сгустился мрак. Свернулся пир.
Хочу укрыться от змеи:
– Господь, помилуй помоги.....
– И не пытайся, не беги,
Достанет хоть из-под земли!

Один лишь суд на свете есть,
Она в душе его вершит.
Сама себя и казнь, и месть,
А кто же от себя сбежит?

Косматая до самых пят.
Кровь цедит теплую. Вампир!
А поцелуй ее, как яд.
Мне опостылел этот мир.

Нет сна. Колдует в темноте,
Берет за горло при луне.
А я пред нею в нагоде.
Одно спасенье будет мне:
Смерть...



Когда была красивой, молодой,
Растрачивала время я беспечно.
Не верилось, что стану я седой,
Казалось, жить и жить мне бесконечно.

Не чувствуешь в неведеньи таком
Бег времени, судьбы своей предела.
А жизнь, как гром, как горный снежный ком,
Как ураган промчалась, пролетела.

Ушел из тела вожденный бес,
Державший в рабстве сладостным дурманом,
А с ним и мир кривых зеркал исчез,
Исполненный иллюзий, обманом.

Но не забыть волшебный свет луны,
Дыханье ночи, тихую аллею
И спуск к воде, где нежен плеск волны.
Я ни о чем, что было, не жалею.



Как много прожитого за плечами:
Рассветов и дождей, и снежных вьюг,
Разливов рек под вешними лучами
И провожаний журавлей на юг.

Как мало было звездных откровений,
Их можно и по пальцам посчитать,
Возвышенных, божественных мгновений,
Которых ради стоит жить. И ждать...

И ждать их, ждать, как ждут свершенья чуда,
Иль постиженья тайны бытия.
А жить иначе – не хочу, не буду.
Пусть даже горько ошибаюсь я.

ВНУЧОК.

Мне на колени влез
Моя отрада, внук.
И стало так тепло
В объятьях детских рук.

Душа его полна
Доверья, доброты:
« Бабуль, люблю тебя,
Бабуль, всех лучше ты.

А можешь рассказать
Мне сказку про лису?
А правда, что медведь
Живет в густом лесу?

Пойдем скорей, хочу
Взглянуть на муравья,

Он бревнышко ташил,
Не веришь? Видел я.»

Ладощка малыша –
В морщинистой руке,
Идем мы через луг
Тропинкою к реке.

Нам вместе хорошо,
Идем мы не спеша.
Один мой шаг большой –
Два шага малыша.

Навстречу ветерок
И аромат весны,
Присели отдохнуть
В тени густой сосны.

Застыла на стволе
Душистая смола.
Кружит, летит к цветку
Мохнатая пчела.

Нам вместе хорошо,
Идем мы не спеша.
Один мой шаг большой –
Два шага малыша.

И полный тайны мир
С ним открываем вновь,
Внучку нужны мои
Участье и любовь.

ЦВЕТОК И ЧЕРТ.

Пишу стихи: «Как жизнь прекрасна...»
А за плечами черт стоит:
«Не трать бумагу ты напрасно
И время, на него – лимит.

Пойми, давно воспеты розы,
Покрылись пылью вековой,
Просохли умиленья слезы.
Твой пыл напрасный, бредовой.»

Раздумье мною овладело,
Восторг телячий поутих.
Порву и брошу к черту стих,
Возьмусь-ка за другое дело:

Носки, колготки постираю,
Дам есть голодному коту,
Проведаю соседку Раю,
Полы на кухне подмету.

А на окошке из бутона
Раскрылся маленький цветок.
Он нежно-голубого тона.
Расправил каждый лепесток.

Я вижу легкое свечение
Полупрозрачного цветка.
Ложатся тающие тени
На лепесток от лепестка.

Из глубины тысячелетий
Пришел неповторимый день.
Все – обновленное на свете.
И черт пусть не наводит тень.

Пошел.....!
Цветок – подобен магу.
Опять за ручку и бумагу.

УТРО В ЛЕСУ.

Светлеет опушка.
Июньское солнце

Взошло.
Просохли травинки,
Прогрелась дорожка.
Тепло.

А в чаще –
ночная прохлада
И сырость, и мгла.
Глубокая тень
На тропинку от елок
Легла.
Пробился луч солнца
И тонкою лег
Полосой,
Блеснул колокольчик
Прозрачную, чистой
Росой.

Прорвался второй –
Засиял под ольхой
Родничок.
Вдруг вспыхнул
В иголках сосны
Золотой паучок.

И брызнули тысячи
Радужных, ярких
Лучей.
Наполнился солнцем
Весь лес: и листва,
И ручей.

На мох
От кудрявой березы
Легли кружева.
И тянутся
К теплему солнцу
Цветы и трава.

Анжелла Подольская



Вдруг, наплывает ниоткуда
созвучье рифм, имен и слов.
И тайна неразгаданного чуда
стремится на бумагу вновь.

Откуда-то приходят строки
Сомненье, вымысел и жар
И страх моей сердечной муки
Спешит к перу бесценный дар.

И я спешу, боясь отвлечься
Подумаешь о чем другом
Забыта мысль, успев зажечься
Мелькнувшим, пламенным огнем.



Я все разрушила и все опустошила
Свой дом и мать я не смогла сберечь.
Какая-то неведомая сила,
Сметая все с пути, пытается меня увлечь.

Все перепуталось, и я устала,
Бороться за себя, за вас.
Прими меня, неведомая сила,
Пред Вечностью, бессильна я.

Средь бела дня я, как в ночи
Бегу, мечусь я, словно, в клетке
И хочется оковы разорвать
И душу вырвать вон из этой пытки.

Смешна, глупа, одновременно
Неужто думаю я обмануть
Что предначертано, что неизбежно,
Все, что отмерено мне пережить?

И, где мне мужества занять
И эту преступить черту?
И лишь, мечта неутоленная, –
Забиться в яростном бреду.

Мне нет спасенья от любви и страха,
И не дано предугадать. Быть может
Встретимся в какой-то новой жизни,
Где я не буду вспоминать...



Мне не хватает словаря,
Сказать, прочувствовать, прожить...
И, ничего не говоря,
Я молча ухожу в себя.

Уходит из жизни опора,
«Варюсь» в своем «соку»...
Нет выхода мне из былого,
Расстаться с ним не могу.

Одна, среди мирозданья,
Вокруг сплошные руины...
Хватает за горло отчаянье,
Неужто, доколе живы?

Я праздную поражение,
Утеряна точка отсчета...
Не жду ничьего сожаления
Есть логика в этом.

Мне нужно придумать надежду,
Схватиться двумя руками...
«Луч света в темном царстве»,
Иначе, лишь мрак да бездна.



Давай вернемся в дом, забытый нами,
Накроем стол, зажжем свечу.
Наполним тишину забытыми шагами,
И, помолчим вдвоем, я так хочу...

Я так хочу понять, переосмыслить,
Мне кажется, друг другу есть нам, что сказать.
Чтоб не вычеркивать из столь короткой жизни,
Десятилетия, хоть невозможно повернуть все вспять.

Давай не будем вспоминать, что общего,
И чуждого меж нами было.
Что нас соединило и, что нас разобщило.
Ведь главное, что это было.
Скорее нужно нам антимир, антисердца соединять.

Иначе, навсегда потеряны мы будем друг для друга,
И снова опустеет дом и догорит свеча.
И невозможен станет,
Диалог наш друг без друга.
И остается только тишина...



Интимность рук в прикосновеньи...
В попытке нежности без слов,
В сплетенных пальцах на мгновенье,
На миг отброшенных оков.

Интимность рук в прикосновеньи...
К любимому, из всех лицу,
В ладонях терпких от волненья,
Упавших на алтарь жрецу.

Интимность рук в прикосновеньи...
К моим не высохшим слезам,
К прерывистому пульса пенью,
К любви немислемым азам.

Интимность рук в прикосновеньи...
Как обнаженный нерв в груди,
В нирвану быстрое паденье,
И отрешенность впереди.

Интимность рук в прикосновеньи...
И в недописанной строке,
Порыва страсти откровенье,
В последнем, яростном броске.

Интимность рук...



История достигла своего финала.
Все превратилось в скучную привычку.
Поставить точку, взять в кавычки –
Забуть героя своего романа.

Любовь себя изжила, тянет жилы.
И бесполезно дальше продолжать.
Ни выразить, ни высказать те чувства не могу я,
Любви исход, не удержать.



Откуда-то пришли слова,
А я не записала.
Не собрала их в узел,
Растеряла.
Забыла, бросила, ушла.
Но, вновь сегодня
К ним вернулась я.

Люблю любить,
И ненавижу ненавидеть.
Не нахожу в них

Прежний горький смысл.
Возможно, Время-лекарь
Потрудилось,
Превратности судьбы
Преобразив.
Объятий, прошлое
Не разжимая,
Удерживает нас.
Но, что-то в нас самих меняя,
Не поддаваясь логике, подчас.



Я не избранник, не герой и не судья.
И мысль моя, тому порукой,
Что в мире, одиночество – моя стезя.
Я – путник, пришедший ниоткуда,
Идущий в никуда.

Дороги, тропы, млечный путь.
И от ручья к ручью, и от жилья к жилищу.
Ни мысленно, ни вслух,
Не оскверню корней,
Оставленных, но не забытых.

Я к ним вернулась,
Но не пришла.
В лесу и в поле – мой ночлег.
Земля и небо – дорога бытия.
Седьмое измеренье – свет и тьма.

Борис Розовский

МОЛИТВА ЦАРЯ СОЛОМОНА

*Даруй же рабу Твоему сердце
разумное, чтобы судить народ
Твой и различать, что добро и
что зло; ибо кто может управлять
этим многочисленным народом
Твоим?*

Третья книга царств, 3, 9

О, Боже правый, милостью Твоей
Я взыскан был от самого рожденья,
И следовал я Твоему веленью,
Приняв в Давида граде трон царей.

И ныне, правоверный иудей,
Я возношу тебе благодаренье
За то, что драгоценные каменья,
Виссон и золото есть в казне моей.

Я ни богатств, ни славы не прошу.
Ты сделай так, чтоб я, пока дышу,
Мог отличить добро от дела злого,

Чтоб сердце было разума оплот,
Чтоб честно мог судить я Твой народ. . .
Поверь, не нужно ничего иного.

ИСХОД

*... Так потопил Господь Египтян
среди моря.*

*И вода возвратилась, и покрыла
колесницы и всадников всего войска
фараонова, вошедших за ними в море;
не осталось ни одного из них.*

*А сыны Израилевы прошли по суше
среди моря: воды были им стеною
по правую и левую сторону.*

Исход. 14, 27-29

Нет больше сил. Нешадно солнце жжет.
По щиколотку утопают ноги
В песке. Но он ведет их без дороги,
Куда его вседневно кровь зовет.

Всевышний указал ему Исход!
Пускай грозят им наказаньем строгим:
Страшны мученья лишь душой убогим.
Он выведет из рабства свой народ!

Пред ними море Черное шумит.
А за спиной – тяжелый звон копыт,
Несущихся по выжженной пустыне.

Но сдержано движенье тяжких вод.
Ведомый им народ проходит брод.
А вражья – гибнет конница в пучине.

САМСОН ОСЛЕПЛЕННЫЙ

*... И сдвинул Самсон с места два
средних столба, на которых был
утвержден дом. И сказал Самсон:
улири, душа моя, с Филистимлянами.
Книга судей, 16, 28-30*

Самсон в бессильной ярости стоит,
Себя своими предал он руками
Повязан крепко медными цепями.
И лишь одно испытывает – стыд.

Уж лучше б он на месте был убит,
Чем, как рабу, стоять перед врагами,
Не видя их потухшими очами.
И ненависть в душе его кипит.

Врагами окружен со всех сторон,
– О, Боже! – в исступленье молит он, –
Верни хотя б на миг былую силу!

И – чудо! – подались тела колонн.
Пусть он в сем доме будет погребен,
Но и враги найдут себе могилу.



Я, словно коммунальная квартира,
Набит людьми. Кого в ней только нет?
Живет в ней и мужчина средних лет,
Страдающий от всех недугов мира;

В ней и мальчишка, спорщик и задира,
Считающий в душе, что он поэт;
В ней и Альцест, брюзжащий на весь свет,
Но памятующий о пользе сыра.

Порой меж ними возникает спор.
Слова спешат, летят во весь опор,
Остры и злы, как мушкетера шпага.

Глаза в глаза – кипение и страсть –
Они друг друга начинают клясть...
Но, слава Богу, нет меж ними Яго.

Оксана Шереметьева

В чадре искрящейся метели
Приду на зов,
Где только свет и только ели,
И снега кров.

Где чистота и звон прозрачен,
И профиль твой
Изящной тенью обозначен
Целуя мой.
Где никого под синью неба –
Безмолвен час –
Лишь тени елей, блески снега
И двое нас.



Заледенелая струйка воды
Змейкой изящной застыла в полете,
Как застывают в камне цветы,
Как застывает музыка в нотах.

НОЧЬ НАД ОЗЕРОМ

Лунными осколками
Озера, лавиной,
Ночь взхлеб выщелкивает
Посвист соловьиный.

Редкостными росами
В травах меж цветами
Нежности ли россыпи
Сыплет жемчугами.

Ветками волнуется,
Листьями трепещет.
Скоро ли он сбудется,
Сон, что был обещан?

Но в бредовых шелестах
Не найдя ответа
Шелковую свежестью
Тянет нить рассвета.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Стало как-то жутко,
окна потемнели,
В гулких переулках
ветры зашумели.

В сатанинской пляске
вьюга закружила,
И как в старой сказке
все заморозила.

И на этот шабаш,
колдовской и звонкий,
Прилетели с вихрем
юркие поземки.

Буйные метели
все запорошили,
Вдоволь наплясались,
власть повеселились.

А под утро стихло,
гости разлетелись,
Я к окну приникла,
глядя вслед метели.

Словно не бывало
плясок на раздолье,
Стали неподвижны
у берез подолы.

И забыв кадрили
дерзкие поклоны,
Стали молчаливы
ухажеры-клёны.

Но ведь я-то знаю
все, что ночью было,
Просто мне не спалось,
просто я любила...

ШВАРЦВАЛЬДСКИЙ МОТИВ

Брожу в промозглости вечера –
Вокруг ни души.
И зонт обнимает плечи мне
В плакучей тиши.
А травы, со всеми былинками
И каждым цветком,
Усыпаны лета дождинками,
Изверившись в нем.

И медленно-медленно тянется
Тяжелый туман,
И горы в клубящемся мареве
Стоят, как обман.
А в воздухе, дремой окованном,
Унынья капель –
То капли роняет на зонтик мой
Столетняя ель.

РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД

По древним глыбам
воды лавина
несется вниз,
Дробясь и пенясь
о лбы утесов
на тыщи брызг,
Что фейерверком
тугих жемчужин
взмывают ввысь,
Чтоб снова слиться
в одну стихию
и мчаться вниз.

Так бесконечно
тех вод паденье –
упорство сил
И страсти редкой,
и битвы вечной
и гнева крыл.
И дикий рокот стоит
и клекот,
и рев и гул
Над этой кручей
и этой бездной,
где вод разгул
И где немислим
ни в чьем столетье
ни штиль, ни бриз,
А только натиск
бурлящей лавы,
бегущей вниз.



Вижу, как мелькают быстро
– мчится поезд в осень –
Загорелые колени
длинноногих сосен.
И несется в низком небе
ошалелый ветер,
Обгоняя поезд-время
осени навстречу.



В сосновом, засыпанном снегом лесу,
Где скованы стужей мечты и движенья.
Я чувствую – все ожидает весну
В порыве чудесном ее вдохновенья.

Я чувствую свежесть ожившего ветра
И влажную мягкость последних снегов,
И вижу, как сосны расправили ветви,
Ссылая с себя надоевший покров.

Любовь Аксенова

СТАРИКИ

Они безропотно тянули воз. На нем сидели трое: вечно больная дочь и две внучки. Недоедая, отказывая себе во всем, на пороге старости купили лошадь. Дорога шла в гору. Чтобы помочь лошади, усталые старики брели позади. Они мечтали об одном: на перевале, когда дорога пойдет вниз, можно будет присесть на телегу. Девочки подрастали, но у их матери жизнь не складывалась, и старики тянули из последних сил.

До перевала оставалось несколько метров. Уже виднелась другая сторона горы. Еще десять метров, еще пять... Вот лошадь ступила на перевал... Еще два шага, еще один шаг – и можно будет сесть... Старик сделал движение к лошади, хотел остановить ее, старуха протянула руку к краю телеги...

Вдруг дочь приподнялась, посмотрела на мать, натянула поводья, кнутом ударила изо всех сил по лошади. Та птицей полетела под гору. Через минуту они были уже далеко, через пять казались сверкающей на солнце игрушкой.

Старики остановились. Они молча смотрели вслед своей жизни. В первый момент им казалось, что произошло страшное недоразумение, и дети вернуться. Но расстояние все росло. Телега пропала за поворотом.

Старики оглянулись. Справа и слева дремучий лес, вокруг безлюдные просторы. Помощи ждать неоткуда. Нет ни крошки хлеба, глотка воды. Поздняя осень, холодная земля, не на что сесть: при них остались одни худые одежды. Старики обнялись. Постояли молча и, не сговариваясь, повернули обратно. Все-таки ту дорогу они хорошо знали. Оставалась надежда найти что-нибудь там, где был их последний привал...

Дочь рассказывала детям о том, какая красивая осень стоит на дворе, какая чудесная жизнь ждет их за поворотом. Не ожидая вопроса о судьбе стариков, она сказала:

– В последнее время они стали совсем несносные... Когда вы спали, они бормотали, что хотят нас пустить на мыло... Пусть пеняют теперь на себя...

И на вопросительный взгляд старшей дочери ответила:

– Ты за них не переживай, не пропадут, у них, знаешь, какой клад зарыт? Такую себе домину отгрохают...

Старуха сказала мужу:

– Может, одумаются все-таки, вернуться за нами?

– Не - е... Не думаю... Дай им Бог всего доброго...

– И то правда... Без нас телега легче пойдет, быстрее до людей доберутся. Даст Бог, не пропадут.

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Это было одно из прекрасных старинных зданий Берлина. В нем расположился районный социаламт, по-русски, собес. В кабинете сидели трое: за столом - элегантная, спортивная фрау лет 25, напротив - на краешках стульев два пожилых человека. Муж и жена. Евреи. После длительных мытарств, во время которых они похоронили близких, потеряли детей, остались без пенсии, работы, гражданства и крова, евреи приползли в Германию. Просить убежища. Статус контингентных беженцев им был не положен - в числе стран, через которые пролегал их путь, был Израиль. Как остальные советские евреи, эти двое не знали, что печать «был в Израиле» страшнее, чем клеймо «родился евреем». Тот, в чей паспорт попала эта печать, не мог рассчитывать на помощь ни одной «цивилизованной» страны. Германия была из их числа. Но посетители этого не знали, впрочем, как и многого другого.

В Союзе они были невыездными, даже в кратковременные поездки за границу их не пускали, они судили о ней по «вражеским голосам» или Самиздату. Поэтому считали, что в ФРГ демократия, соблюдаются права человека и спорные случаи рассматривает суд. Не как в СССР. Пределы Союза им удалось покинуть в первый и последний раз - когда они написали заявление о выезде на постоянное жительство в Израиль. За это заявление их лишили гражданства и честно заработанных пенсий. Взамен выдали разрешение на пересечение советской границы. Эту бумагу можно было добыть единственным способом - тем, которым получили ее они.

Права на выезд в любую другую страну, кроме Израиля, у советских людей не было. Евреи, покидавшие СССР, добивались с израильскими визами до «свободных» стран и обретали там беженский статус. Либо направлялись в Израиль. В убежище евреям не отказывали, обратно в Союз не возвращали. Так договорились международные лидеры. Посетители знали об этом и, когда покидали СССР, надеялись, что «хуже не будет». Экономически они были устроены в Союзе неплохо, но, не считая нарастающего антисемитизма, у них возникли причины особого характера, заставившие их бежать. Попросту говоря, их выступления в прессе заинтересовали кагэбэшников. Пополз слух о грозящей расправе. Пришлось срочно принимать меры... В общем, это были типичные политические беженцы, которые, по нормам международного права, должны были рассчитывать на помощь соответствующих ведомств. Если бы те хотели ее оказать... Но Союз был развален и до судеб людей, которые боролись за права человека в СССР, теперь никому не было дела... Оказалось, что международное сообщество интересовал вовсе не этот вопрос...

Получив в полиции право на проживание в Берлине, евреи пошли просить социал. Больше идти было некуда. Шесть ночей они жили на улице, два дня ничего не ели. Стоял декабрь. Снега не было. При «плюс три» в своих

сомнительных одежках они откровенно задубели. У женщины болели уши, воспаление охватывало мозг. Она еле держалась на ногах и всё время стонала. Свое имущество - две дорожные сумки с немногочисленным скарбом, дипломами об образовании, русско-немецким словарем и книгами, которые они написали в прошлой, советской, жизни, - евреи принесли с собой. По-немецки говорили плохо. Мужчина прошел через гетто, был ранен, контужен, на одно ухо вообще не слышал. Поэтому к фрау обратилась еврейка. Она заговорила по-английски. Фрау ответила кратко:

- Нур дойч!

Помогая друг другу, супруги объяснили цель своего визита. Фрау взяла бланк, написала на нем фамилии и стала задавать вопросы. Ответы она вносила в бланк.

- Вы просите жилье, медицинскую страховку и пособие на еду?

- Да.

- Когда вы приехали в Германию?

- Шесть дней назад.

Фрау записала дату их приезда в Берлин.

- Где вы жили эти дни?

- На улице.

- У вас есть сбережения?

- Нет.

- У вас есть родственники, которые будут вам помогать?

- Нет.

Фрау дописала: «без средств к существованию».

- Вы евреи?

- Да.

- У вас есть статус контингентных беженцев?

- Нет.

- Сколько вы были в Израиле?

- Два месяца.

- Почему уехали из него?

- У нас был единственный способ перебраться через советскую границу - по израильской визе. Но мы не собирались жить в Израиле. По состоянию здоровья мы не могли из Ленинграда переехать в другой климатический пояс.

- Это грозило вам гибелью?

- Да. Кроме того, мы не знаем иврита. У нас нет родственников и друзей в Израиле, нет шансов найти там работу...

Появилась запись: «Если бы не было проблем со здоровьем и знанием иврита, в Германию не поехали бы».

- Когда вы направились в Германию, вам было известно, что здесь евреям из бывшего СССР оказывают помощь?

- Нет.

- А теперь знаете?

- Да. Нам сказали в полиции, чтобы мы обратились к вам, если негде жить и нечего есть.

- Хорошо. Все, что вы сказали, я записала. Подпишите.- Фрау встала из-за стола, подошла к ним. Красивая. Белокурая. Длинноногая. Хорошо кормленная. «Настоящая арийка», - почему-то подумал еврей. Его кортуженный мозг пронзили воспоминания. Одна за другой поплыли картины... Стоит высокая стройная фрау в эсэсовской форме. К ее ногам падает мама, о чем-то умоляет... Он, шестилетний мальчик, рядом... В ушах звенит только одно слово: «Селекция». Он знает, что это значит. Газовая камера... Маму волочат, как куль с мукой, по полу... Фрау держит руку на кобуре, вот-вот прогремит выстрел...

С простреленной ногой он лежит на земле... Горят бараки их гетто... Из окон прыгают люди. Воют собаки. Везде стреляют. Вдруг наступает тишина. Он не слышит ни звука. На губах земля. Он жует ее, но ничего не видит, не слышит... Наши солдаты откопали его из воронки. Потом был госпиталь. Один, второй, третий. Нога гноилась. Долбили, дробили кость, без обезболивающих удаляли мертвые куски. Боль была страшная. Сестрички плакали, глядя на его муки. Каждое утро, выпав из оцепенения сна, он хватался за ногу: «Цела! Пока он спал, не отняли! Сегодня у него две ноги...». Собирали консилиумы. Хронический остеомиелит. Кость продолжала гноиться... Семь лет боролись врачи за ногу. Ему повезло. Открыли антибиотики. Он был одним из первых... Уколы делали прямо в кость. Искали живую ткань, в нее без наркоза вгоняли шприц. Он терял сознание от боли. Но ногу удалось спасти... Впоследствии открывался свищ, снова больница, снова страх за ногу... Так всю жизнь... Вот и сейчас почернела голень... Продержаться хотя бы день-два, не слечь. Успеть бы к врачу...

Фрау за столом была точь-в-точь из детства. Та, которая держала руку на кобуре. И говорила так же... Отрывисто, сквозь него...

Еврей остановил жену - та хотела подписать бумагу, не глядя. Она не подумала, что фрау могла допустить неточность в записи их ответов... По слогам, как дети, стали разбирать супруги незнакомый почерк. Фрау была недовольна: ее ждут посетители, всё ясно, с этими пора кончать, только мешают работать...

На бланке было написано: «Мы, такие-то, приехали в Германию без денег и имущества, чтобы получить социальную помощь, потому что знали, что Германия оказывает ее евреям из бывшего СССР. По причинам экономического порядка покинули СССР и обманным путем получили израильское гражданство. До этого в Германии не были, как туристы ехать в нее не хотели».

Не зная немецких законов и не понимая, почему фрау искажила смысл услышанного, евреи стали извиняться за свой немецкий. Их воспитание не позволяло сказать: «Ложь». В университете, где они работали, они учили студентов формам вежливости: «это, возможно, ошибка, Вы неправильно меня

поняли, я плохо выразил свою мысль». Фрау записала: «Немецкий знают плохо, языком практически не владеют». Евреи закивали в знак согласия. Затем снова начали говорить, что по их вине - они недостаточно ясно выразили свои мысли - фрау не смогла их правильно понять. Старуха дружелюбно спросила:

- Если бы мы знали, что в Берлине можно получить жилье и деньги, разве стали бы мы жить на улице?

Фрау написала: «Во время путешествия остановились проездом в Берлине, чтобы получить социальную помощь, потому что оказались без денег».

Затем спросила:

- Здоровье хорошее или?

Старуха с благодарностью ответила:

- Не очень. Простудились. Нужен врач. Лекарства. Антибиотики.

- Какая у вас специальность?

- Я филолог, мой муж - математик.

- Где думаете работать? У вас есть право на работу?

- Нет, - ответили просители. - В полиции нам его еще не дали.

На бланке появилась запись: «Несмотря на профессию (научные работники), немецкий не изучали, так как трудовой деятельностью в Германии заниматься не собирались. В Израиле не работали, иврит не учили, жили на социальное пособие. За разрешением на работу в берлинскую полицию не обращались, считали, что работать не будут, потому что больны, нуждаются в лечении и рассчитывают на пособие».

Прочитав новую запись, супруги совсем разнервничались. Они не понимали, почему фрау ведет себя так неприлично - откровенно искажает то, что они говорят. Или они ее не понимают? Как плохо, когда знаешь пять-шесть языков, но все не очень... Поведение фрау вызывало у них острую боль. Им было стыдно за девушку, которая проявляла в отношении них, пожилых и нуждающихся в помощи людей, очевидную бестактность... Они больны, им без того тяжело... Девушка, казалось, не хочет понять происходящего и добивает их, заставляя что-то доказывать на чужом языке, опровергать написанное, каяться в прегрешениях, которых они не совершали... Да, и вообще, какую могут играть роль все эти вопросы и ответы, когда ясно одно - они несчастные люди, оставшиеся на старости лет без хлеба и крова, нет у них ни помощи, ни защиты... Разуты, раздеты, голодные и больные... Старуха заплакала. Что еще делать, не знала. Муж стал протестовать против того, что написано в их заявлении. Возмущался не потому, что понимал, какие это имеет последствия. Нет, ему была неприятна ложь. Его угнетало чувство собственной беспомощности, жестокость, с которой говорила фрау.

Видя, что евреи не хотят подписывать составленную ею бумагу, фрау возмутилась, сказала, что они задерживают прием. Она позвонит в полицию и их депортируют из Германии. Из этого пассажа старик ничего не понял. Он видел, как плачет жена, слышал грозные слова: «полиция», «депортация»...

- Идем отсюда, - попросил он жену.

Фрау позвонила начальнику. Тот появился мгновенно. Маленький, безликий. Евреи стали всё ему объяснять. Он бесстрастно слушал. Еврейка говорила о том, сколько бед им пришлось пережить, как они бежали из СССР, как погибла в фашистских концлагерях и сталинских тюрьмах вся их семья, как лишились они детей, здоровья, крова... У еврея появилась надежда: «Конечно, все станет на место, злключения кончатся... Что делать, им не повезло, девушка молодая, в жизни разбирается плохо... Но на нее обижаться не надо... На то у нее есть начальник. Это ведь Германия, не сборище советских бандитов».

Словно вколачивая звуки в темячко старика, безликий протянул ручку:

- Подпишите.

Старуха стала говорить, что они не могут подписать бумагу, потому что с ней не согласны, в ней написана неправда...

Начальник ответил, что просителей не спрашивают, правда написана или ложь, в их компетенцию не входит оценка деятельности органов власти Германии. Евреи должны поставить свои подписи в знак того, что их узнакомили с содержанием написанного. Сотрудница социаламта, в строгом соответствии с инструкцией, всё записала с их слов, дала прочитать документ и разъяснила его смысл. Упорство стариков является нарушением дисциплины. Они оскорбляют чиновников при исполнении служебных обязанностей. Если они не подпишут заявление и не покинут кабинет, он вызовет полицию: за нарушение общественного порядка на них наложат штраф, их посадят в тюрьму и депортируют из Германии в Израиль.

Старики поставили подписи, взяли сумки и вышли из кабинета, так и не поняв, почему им отказали в помощи.

Начальник спросил фрау, какие формулировки она внесла в заявление. Та зачитала. Затем добавила:

- Дело оказалось легче, чем я ожидала. Они совсем больные, детей или родственников, которые будут их содержать, нет, средств к существованию тоже. Типичный балласт для Германии. Я сразу поняла, что речь идет о *сонации*. После того, как они поставили подписи под заявлением, написанным от их имени, шансов получить социальную помощь в Германии у них нет и не будет никогда - ни через десять, ни через сто лет. Как говорит параграф 120, иностранец, признавшийся, что приехал в Германию получать социальную помощь, навечно теряет на нее право. Они подтвердили, что намерение жить за счет социала у них появилось задолго до того, как они прибыли в Берлин. Поэтому они не учили немецкий язык и не позаботились о разрешении на работу. В общем, дело можно сдавать в архив...

Ни один суд не опротестует наше решение оставить их без социальной помощи. Впрочем, о каком суде говорить, если это заявление отрезало их не только от социала, но и от бесплатной правовой защиты. Так что разрешение, выданное полицией на проживание, останется для них пустой бумажкой...

Даже если сейчас, в шестьдесят лет, они найдут способ заработать на пропитание, что они будут делать в семьдесят или восемьдесят?... Где будут жить? В метро? Нет, не зря я работала над этой бумагой: я дала им шанс самим очистить Германию от себя, не прибегая к насилию... Я думаю, с этими двоими Берлин попрощался навсегда... Мы помогли им решить проблемы без нарушения закона - путем экономического, а не политического решения, в полном соответствии с нашей конституцией и духом немецкого народа...

- Вы хорошо ведете дела. Я буду ходатайствовать о Вашем повышении, - уже в дверях сказал начальник, а фрау с очаровательной улыбкой пригласила в кабинет следующего.

Это был наркоман. Ему, как немцу, а может, еще и арийцу, социальная помощь была обеспечена по праву рождения, т. е. по закону, и фрау, чувствуя себя волшебницей, отсыпала всё, что положено, из прикрепленного к ее поясу рога изобилия: деньги на еду, жилье, одежду, медицинскую страховку, 200 ДМ на рождественский подарок... Это был ее родной соотечественник. Человек. Он имел права - человека. Его многому учили, но ничему не выучили. Общество дало ему всё, он не считал нужным возмещать ничего. Но он был иного ранга, чем предыдущие...

Те двое были не люди. Они были иностранцы. Евреи. Да еще из Израиля. Поэтому на права наркомана им претендовать не приходилось. Прав человека в Германии у них не было. Фрау как добросовестной исполнительнице немецких законов даже в голову не приходило рассматривать их с этой точки зрения. Потому что законы об иностранцах в Германии, - впрочем, как и в других цивилизованных странах, - никакого отношения к правам человека не имеют... Большевики в свое время до этого не додумались... Спасибо им за это.

Евреи вышли из социаламта. Пересчитали деньги, которые у них остались: 79 пфеннигов. Спустились в метро. Мусор уже убрали. В урнах пусто. Подошли к двум пьянчугам, сидевшим на станции в куче дерьма. Те дали глотнуть из бутылки, купленной на деньги социаламта...

В апреле в лесопарке возле Ванзее нашли два полуистлевших трупа. Рядом лежала дорожная сумка с профессорскими дипломами и русско-немецким словарем...

Еще через несколько месяцев у фрау был выкидыш. Прошел слух, что она стала заговариваться. Фрау рассказывала коллегам, что во время беременности достала пистолет из кобуры на своем поясе и выстрелила в ребенка, который у нее родился. Начальник фрау благополучно сидел в своем кабинете, проводил сонации среди неполноценных, просивших у Германии помощи. Чаще других он отказывал румынам (их он считал цыганами) и евреям. Безотносительно к этому, в тридцать пять стал лысым, похудел и сморщился. Цыганка, видевшая его на приеме в социаламте, сказала, что у начальника рак и что Германию «через него» ждут великие бедствия... Среди них - небывалое наводнение на Одере и Нейсе, двадцатиградусные морозы, падение жизненного уровня, безработица и болезни, потому что гельды, добываемые злым способом,

Германии не достанутся, уплывут в Америку... Кто-то спросил, что станет с Германией, если таких будет много?

А в Израиле арабы по-прежнему взрывали евреев и евреи стреляли в арабов...

Евгений Вертель

ДВЕ НАТАШИ

Утро началось хреново. Не успел Вадим Петрович Панин, заместитель директора крупной фирмы, отъехать на десяток километров от своего загородного дома, как попал в пробку. Какие-то допотопные «Жигули» столкнулись с собратом по классу.

– «Volkswagen Golf», – привычно определил марку Вадим, любивший машины и понимавший в них толк. – Ну, как можно ездить на таких козьяках! То ли дело Volvo – машина, которую Вадим не променяет ни на какой Мерс. Он водит машину аккуратно, но знает, что в случае беды этот танк на колесах не подведет. У Вадима кредо: окружающая его техника должна быть самой лучшей. Это касается и компьютера, и мобильного телефона, и даже часов: Не говоря об автомобиле. Слишком часто в наше беспокойное время от железок зависит успех в деле, а то и сама жизнь. Вдобавок, к покорным и безотказным слугам привыкаешь и начинаешь думать о них, как о членах своей семьи. Особенно отличалась этим жена Вадима. В компьютере она вообще готова была видеть одушевленную личность...

Вадим вспомнил жену и улыбнулся. Надо же, на старости лет, а ему уже перевалило за сорок, оторвал такую красавицу. И отношения как-то сразу сложились. И дело не только в красоте Наташи, – сколько красоток зарились на его миллионы! Она как-то сразу стала нужной и необходимой. После многих лет жизни с Вероникой, которая доводила его скандалами и сценами ревности до посинения, это воспринималось, как подарок судьбы. Может, все дело в том, что у Вероники не было детей? У многих женщин в такой ситуации крыша едет. Они еще и года не женаты, а Наташа уже ждет ребенка. Интересно все-таки, кто – мальчик или девочка? Если парень – из него надо будет воспитать настоящего мужчину. Не хлюпика и размазню!

Вадим привык рассчитывать на девяносто килограмм своего тренированного тела, сам водил автомобиль, не тратился на телохранителей, резонно полагая, что в уличной драке может постоять за себя, а против мины с радиовзрывателем или винтовки с оптическим прицелом лекарство не скоро придумают. Но интеллекта парню надо будет добавить, особенно английский. Без него прямо зарез. Ну, а если Бог девочку пошлет, пусть мама с ней возится; что делать с этими воздушными созданиями, Вадим и представления не имел.

Да, вот уже и девять, а еще до Поклонной горы не добрался. Надо звонить.

– Нелли Петровна? Это я! Шеф не тревожил?

– Нет.

– Хорошо! Перенесите совещание на десять тридцать! Список у Вас под рукой?

– Да.

– Я буду через двадцать минут. Действуйте!

И началась обычная производственная круговерть.

Когда рабочий день закончился, ему было трудно вспомнить, чем конкретно он занимался. Да, решил вопрос с санинспекцией, которая прицепилась к сроку годности большой партии говядины; протолкнул через таможенный терминал в Брусничном два грузовика с финскими молочными продуктами, принял на работу нового сотрудника вместо слегшего с инфарктом. Одним словом, правильно говорит шеф: если бы все крутилось само собой, управленцы были бы не нужны.

На вечер осталось одно дело частного свойства. На календаре запись: «19 июля, 19 часов, Вагнер». Вежливое, но настойчивое приглашение посетить доктора получено еще неделю назад. Этот доктор не чета тем медикам, которые объявляют голодовки или пикетируют мэрию, выпрашивая свои копейки – или тысячи по нынешним временам – на кусок хлеба. Подмыв под себя закупку лекарств на Западе, а затем и поставки рентгеновской техники, он сколотил такие миллионы, что в городе немногие могли с ним тягаться. От приглашений такого рода не отказываются.

– Зачем я ему понадобился? – с неясной тревогой думал Вадим.

Молчаливый охранник открыл дверь и провел его в комнату, скорей всего, зал для заседаний. Там уже находилось десятка полтора мужчин. Почти все они были моложе, с большинством из них Вадим сталкивался по делам.

Через несколько минут в зал вкатился доктор Вагнер. Толстый коротышка, казалось, излучал энергию.

– Господа! Тысяча долларов тому, кто скажет, что у вас общего, кроме штанов! Две минуты на размышление!

По залу прокатилось оживление. В зале собрались, и основном, тертые калачи, понимавшие толк в шутке. В тысячу с неба Вадим не верил с детства, но от нечего делать попытался найти что-то общее в этой команде. Ничего путного не получалась. В зале были тонкие и толстые, почти юнцы и дяди с солидными лысынями и брюшками. Внимательный взгляд без труда определял, что гости были не робкого и не бедного десятка. По манере сидеть, свободно, но собранно расположившись в креслах, по небрежным приветствиям, которыми более маститые отвечали на знаки внимания и почтения. Вадим без удивления отметил, что его знали многие.

В числе последних в зал вошел его одноклассник, Виктор Пустоход. Дурацкая фамилия, ничего не скажешь, а мужик с головой. Встречались они редко, дела и семейная жизнь совсем засосали, но в трудный момент всегда были рады помочь друг другу, ревниво следя, чтобы не залезть в большие

моральные долги. Вадим помнил, что Виктор, который раньше работал в органах и сохранил там связи, недавно выручил его от чрезмерного любопытства налоговой инспекции. Надо будет с ним поговорить.

–Чего они там тянут? Сколько можно!

Не зря Колобок был доктором психологии, он знал, как владеть аудиторией. Вагнер уже был на трибуне, собранный и деловитый.

–Тысяча останется при мне, и не мудрено. Общее у вас есть: через несколько месяцев каждый из вас станет отцом.

Как будто ветерок прошел по залу. Все мельком, но с возросшим интересом поглядывали на соседей.

– Скажу больше, у каждого из вас родится сын. Нет, у одного даже не сын, а двойня.

И снова оживление в зале. Почти все мечтали о сыновьях. Надо было хотя бы несколько минут, чтобы понять, что лотерея закончилась и все выиграли. Те немногие, что предпочли бы иметь девочек, редко желают этого так сильно, как жаждущие наследников.

–Неужели у меня? – мелькнула шальная мысль.

Но докладчик уже зацепил аудиторию и не давал ей расслабиться.

– Каждый из вас хочет видеть своего сына и наследника сильным, мужественным, умным, заботящимся о родителях. Каждый хочет вырастить сына, которым можно гордиться в старости. Не вы первые и не вы последние, кто ставит перед собой такую задачу. Увы, победителей в этой игре негусто. Отнюдь не редкость, когда у папы академика сын бездельник и наркоман, а у политического деятеля – сутенер и развратник. В чем здесь собака зарыта? Неужели комбинация генов так намертво и навсегда определяет характер и судьбу человека? А воспитание? Этот мощнейший инструмент, который человечество шлифует не одно тысячелетие? Горы, тысячи книг. Известно, кажется, все: как закалять младенца, какие колыбельные петь, какие беседы вести на сексуальные темы, как учить добру и развивать математический талант. И тем не менее,– доктор повысил голос и затем придержал паузу.

– Великий воспитатель Янош Корчак, не чета нам с вами, говорил, что ни один честный педагог не возьмется вырастить из сотни малолетних детей сотню достойных граждан. Неужели слепая лотерея? И у вас... У кого-то вырастет сын – гордость и продолжатель рода, а в соседнем подъезде – дай бог, чтобы просто пустое место, а не огромный минус. Вы, вероятно, знаете, что детей у меня нет, но меня всегда интересовал вопрос: почему лучшие умы человечества были здесь бессильны. Я собрал энтузиастов – генетиков, биологов, врачей, программистов и даже учителей. Дал им возможность пять лет работать, и они подтвердили мою давнюю догадку. Мы знаем, как воздействовать на ребенка. Мы не знаем, когда...

Вагнер снова сделал паузу, глотнул воды из стакана, глянул вверх, в какие-то доступные лишь ему дали, и продолжал.

– Точнее, мы не знали, когда. Сейчас нам удалось выделить сотню дифференциальных признаков, подлежащих формированию. Среди них: доброта, честность, любовь к животным, верность долгу, чистоплотность, смелость, отзывчивость. Да каждый из вас и так более менее представляет список человеческих добродетелей. Но мы пошли гораздо дальше. Анализируя генетический код отца и матери, удалось построить подробнейший график. В конце собрания каждый из вас получит перечень параметров и связанных с ними дат. Например, если папа хочет сделать сына щедрым, ему надо в конкретный день показать пример щедрости. Учат переносить боль в другой день, любить родителей в третий. Любые наши правильные с виду действия будут уходить, как вода в песок, если они не в нужный день или неделю. Вот так, господа. Поздравляю вас. Вы первые из людей имеете гарантированную возможность оставить после себя достойных, выдающихся потомков.

Я кончил, господа. Для каждого из вас подготовлена индивидуальная папка, в ней все нужные материалы. Стоимость документов – пять тысяч долларов за комплект.

– Начинается, – подумал Вадим.

– Бесплатное люди не ценят, – продолжал доктор.

– И то правда!

Похоже, что сумма никого не колыхала. Доктор знал, кого приглашать.

Вадим оставил свою визитную карточку со словами: «Счет пришлите!» и получил пакет.

Разбираться в нем сейчас не хотелось, важно осмыслить главное. Через три месяца у него будет сын, из которого можно вылепить человека... Тут голова начинала идти кругом от возможностей.

Вадим добрался домой, увидел свою подурневшую, с пигментными пятнами на лице, но такую родную Наташу и весь этот неприятный, а зачастую и злобный мир остался где-то далеко. Надо будет обсудить все с Натой в выходной. Вот уж будет радости!

Но ничего обсуждать не пришлось. Когда Вадим уехал на работу, Наташа села в свою машину и поехала навестить – добрая душа – заболевшую подругу. Она благополучно поставила машину и уже подходила к подъезду, когда на тротуар вынесло грузовик.

В одну минуту Вадим остался без жены и двоих сыновей, инструкция по воспитанию которых так и осталась невостребованной.

Жизнь потеряла для Вадима всякий смысл. Долгие месяцы он укорял себя, почему не стал говорить с женой в тот последний вечер. Она наверняка подходила бы к подруге минутой раньше или позже. Но никак не в эту роковую секунду... Увы, нет и не будет компьютеров, которые способны учесть все превратности судьбы.

Будущее стало глубоко безразлично Вадиму. Он не мог видеть дом, город, свой кабинет. Пробовал пить, не помогало. Доктор Вагнер посоветовал ему

уехать. Друзья помогли Вадиму получить место торгового атташе в одной из стран Латинской Америки.

И началась новая жизнь, в которой было многое – работа, женщины, увлечение яхтами... – не было в его жизни больше Наташи. Он не ездил в Россию и проводил отпуска в одиночных плаваниях на своей яхте. Шли годы. Менялись президенты и правительства. Каждый новый премьер и лидер привычно говорили о тяжелом наследстве, о том, что альтернативы их курсу нет, что надо потерпеть два-три года, а дальше все само пойдет. Надо лишь победить преступность и коррупцию, добиться, чтобы чиновники заполняли декларации о доходах, и все будет хорошо.

Но реально всем надо было торговать и добывать деньги. И Вадим торговал и добывал.

Он заметно состарился, перенес два инфаркта. И, когда позвонил Виктор, с которым он обменивался новогодними открытками, сказал, что похоронил жену и просит его приехать, чтобы выполнить последнюю волю его Наташи, Вадим собрался и поехал. Не так много изменилось за эти годы. Разве что «Боинги» стали больше, а компьютеры – меньше.

Виктор встречал его в Пулково с сыном: простоватым двадцатилетним парнем, с открытым лицом и улыбкой во весь рот. Сын отвез их в родительский дом и умчался по своим молодым делам.

Когда друзья посидели, выпили, помянули Наташ, Вадим сказал:

– Славный у тебя парень... А чем закончилась вся эта ерунда с инструкцией по воспитанию... Помнишь, доктора... С какой-то музыкальной фамилией...

Как не помнить. Доктор Вагнер. Его недавно застрелил один из рассерженных папаш.

– Что, не сработали инструкции? – ухмыльнулся Вадим.

– Напротив, все указания действовали безотказно!

– Так в чем же дело?

– В том, что, поразмыслив, все стали готовить детей к жизни в современном мире, жестоком и беспощадном. И дети – по заказу – выросли жестокими и беспощадными.

А сделать так, чтобы чадо ненавидело всех и вся, было готово к безжалостной борьбе и обожало пап и мам, бабушек и дедушек, не всегда получалось. В ситуациях выбора нередко крыша ехала или жестокость побеждала. Она поближе все-таки к глубинным инстинктам.

– Да, действительно, мать твою... Не просто все в этом мире. Но что за проклятая страна Россия. Одни эксперименты и все на людях. И все мимо. Но у тебя, кажется, все в порядке. Парень хоть куда.

– Да, у меня все в порядке. Хотя и я пытался парня покалечить. Да не сработали инструкции...

Виктор волновался, голос его заметно треснул.

– Послушай, не перебивай. Я многое узнал из письма жены. Оно лежало в толстом конверте с надписью: «Вскрыть после моей смерти. Наташа.»

Оказывается, у меня редкий случай безнадежного мужского бесплодия... Хотя с виду машинка работает вполне нормально, – добавил Виктор, неизвестно зачем.

– И вот Наташа подкупила нашего врача, он под каким-то предлогом взял у тебя сперму для анализа и ввел ей. Так что Павел – твой сын. И воспитывали мы его, как умели.

– Боже,– подумал Вадим,– от счастья не умирают. Наташа...

И умер.

Иосиф Вольфсон

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Ирина Павловна Афонина пришла в школу сразу после окончания географического факультета. Это была худенькая большеглазая девушка, на вид почти школьница. Этому впечатлению способствовало ее коричневое с белым воротничком платье, видимо, ее любимое, а, может быть, и единственное. Она была молчалива, серьезна, никогда не расставалась с пухлым портфелем и тяжелой красивой указкой, подарком учеников из ремесленного училища.

На уроках она преображалась, вдохновенно рассказывала о далеких землях, о диких животных, сказочных красотах гор Памира и волжских берегов. Казалось, что она, воочию, видела весь мир, восхищалась им и просто не могла не передать своего восхищения детям. А на самом деле, она всю свою жизнь прожила безвыездно в Ленинграде, где родилась, где умерли в блокаду ее родители. Жила впроголодь, кормила и воспитывала младшую сестренку. Работала машинисткой, одновременно – вечерняя школа и заочно Университет.

От аспирантуры отказалась, мечтала стать учительницей и смотрела на мир большими, чуть удивленными глазами сквозь толстые стекла очков. И вот, случилась с ней беда.

В восьмом классе учился у нас балбес и двоечник Вася Ширяев. Родители, рабочие пригородного совхоза, им не занимались. Мать – доярка, работала от зари до зари, чтобы прокормить многодетное семейство, а отец, инвалид, вечно пьянствовал, и, как человек широкой души, часто приводил домой компанию полупьяных дружков, тоже ушибленных войной.

Так и жил Вася, не ведая добра и сытости. Учился с трудом. Учителя из жалости иногда переводили его в следующий класс. Когда добрался он до восьмого, ему было уже семнадцать. Был он рослым, сильным и добрым по характеру парнем, не пил, уже заглядывался на девочек.

И вот, однажды, когда Ирина Павловна, рассказывая, прохаживалась между рядов и оказалась рядом с Васей, он внятным шепотом сказал – и это услышал весь класс:

– Ирина Павловна, хотите, я вас трахну.

Дальше произошло неожиданное: Ирина Павловна с силой ударила Васю указкой по голове, тут же опомнилась и, заплакав, убежала. Девочки бросились ее искать. Мальчики обступили Васю и стали его избивать. Кто-то сказал:

– Иди, сволочь, извинись!

Вася с трудом промычал распухшими губами:

– Куда я с такой мордой пойду.

За двадцать минут большой перемены эту историю узнала вся школа, включая директора.

Евстафий Евлампиевич Рябокоть до войны закончил двухлетний учительский институт, в войну служил в конвойных войсках НКВД, где и прошел славный воинский путь от младшего лейтенанта до подполковника. За какую-то провинность его поспешно демобилизовали, а райком партии – трудоустроил, рекомендовал на должность директора школы. И решение директор принял крутое, в духе своего прежнего педагогического опыта: гражданку Афонину Ирину Павловну за антипедагогические действия от работы отстранить, дело передать в прокуратуру. Суд был через месяц.

А за это время Вася с группой пацанов-пятиклассников поздним вечером взломал дверь в киоске “Пиво-воды”. Ничего интересного не нашли, только ящик “Столичной”. Водку вылили в сугроб, а пустые бутылки на завтра сдали и на вырученные деньги купили конфет.

За этот “набег” (были и другие прегрешения) Васю заточили в колонию несовершеннолетних правонарушителей. Вот оттуда он и был доставлен в суд в качестве свидетеля по делу гр-ки Афониной.

На допросе она держалась спокойно, говорила неузнаваемым голосом, сухим, вроде надтреснутым, была бледная, холодная. Она не запиралась и не просила снисхождения.

Вася просил не наказывать Ирину Павловну, говорил, что виноват во всем он сам и готов принять любое наказание, плакал и порывался пасть на колени. Конвоиры не дали ему сделать этого.

Затем яркую речь произнес прокурор. Он был молод и талантлив, и это была его первая речь после назначения на эту должность. Как он старался! Он говорил о высоком предназначении учителя, о его священном долге перед народом, потрясал цитатами из Ушинского, Добролюбова и Макаренки, голос его звенел и вибрировал. Прокурор требовал лишить обвиняемую права на педагогическую деятельность.

В заключение прокурор зачитал письмо, подписанное треугольником (директор школы, секретарь парторганизации и председатель профкома). Он, от имени педагогического коллектива, гневно клеймил поступок гражданки Афоной, позорящей честь и достоинство советского учителя. Был и адвокат. Он говорил, что Афонина И. П. – молодая, неопытная учительница, ну сорвалась, нервы не выдержали, с кем не бывает. Но это был жалкий лепет в сравнении с гневным и пламенным пафосом обвинительной речи прокурора. Приговор гласил:

“Афонину Ирину Павловну за антипедагогический поступок, несовместимый с высоким званием советского учителя, лишить права заниматься педагогической деятельностью“.

Судебное заседание закончилось.

Ирина Павловна во время процесса сидела сторбившись, прикрыв лицо руками, иногда вздрагивая.

Вася пытался что-то сказать, кричал, но его быстро увели.

Что с ней было дальше, точно неизвестно. Говорили, что ее видели на Московском вокзале с рюкзаком, в веселой и шумной компании студентов-горняков, отправлявшихся с геологической партией куда-то в Среднюю Азию. Они пели под гитару самодельные, лихие туристские песни. Ирина Павловна пела вместе с ними, и ей, кажется, было хорошо. Дай-то Бог.

БОХАДЫР

В соседней школе произошло событие, которое многих взволновало. О нем школьники передавали друг другу таинственным шепотом, взяв клятву “никому-никому...”

Четыре мальчика из 9-а класса заманили на чердак семиклассницу и, не встретив особого сопротивления, изнасиловали ее. Был суд. Преступники получили положенный им по закону срок.

А при чем здесь Бохадыр? Во время совершения преступного действия он был “на стреме”, то есть по сговору с преступниками стоял у входа на чердак и строго следил, чтобы никто не входил и не помешал тому, что совершалось.

Бохадыр не был судим, но оставаться ему в школе, где все знали о его причастности к преступлению, было неудобно, и отец решил перевести его в другую школу. Такова причина появления у нас, посреди учебного года, нового ученика. Об этих обстоятельствах знал и я, один, и, разумеется, никому о них не рассказывал.

Смуглый черноволосый узбекский мальчик вел себя поначалу очень тихо и скромно. При разговоре с учителями стоял, опустив голову, держа руки “по швам”. Молча выслушивал замечания, всегда обещал исправиться и просил лишь об одном, не вызывать отца и не говорить ему о сыне ничего худого.

На очередном родительском собрании я познакомился с его отцом. Это был коренастый мужчина с пронзительным и, как мне показалось, недобрый взглядом глубоко посаженных глаз.

Дождавшись, пока все разойдется и мы останемся одни, он рассказал, что приехал в Ленинград из Ташкента на двухлетнюю стажировку с последующей защитой докторской диссертации в медицинском НИИ. Приехал с сыном и женой, снял квартиру. Просил уделить его сыну особое внимание, он, ученый, очень-очень занят, а жена – женщина малообразованная и не может заняться воспитанием сына.

Я обещал, но просил не забывать, что именно на нем лежит главная забота и ответственность за воспитание сына при всем величии его научных проблем. Он со мной согласился, что это соответствует и мусульманским традициям. И рассказал: “Когда я в отпуск приезжаю в родной кишлак, старый отец вручает мне кетмень и просит почистить арык. Однажды, когда ему показалось, что я эту работу выполнил плохо, он избил меня этим кетменем. Я, взрослый человек, врач, молча перенес наказание, стоял под градом ударов, не шевелясь и не пытаюсь бежать”, и закончил: “это Азия, это не Европа, и никогда мы европейцами не станем!” Я с ним не спорил.

Мальчик с трудом одолевал школьную премудрость. Он был ленив и не любознателен. Русский язык давался ему плохо, читать он не любил. Другое дело – уроки физкультуры! Тут он был ловок, подвижен, хитер, жесток. Многие учителя ставили ему тройки просто из жалости. Письменные работы, как ни странно, писал вполне успешно. Не сразу выяснилось, что он их списывал у соседа отличника Леша Барановского, который за 45 минут успевал решить и свой и его вариант. При списывании проявлял такую ловкость, что изоблечь его не было никакой возможности. Слух имел немисливо тонкий, как у хищного зверя. Подсказывали ему с последней парты шепотом. Никто в классе, включая учителя, ничего не слышал, а он, стоя у доски, слышал все. Когда я делал

ему замечание и просил пригласить в школу отца, он бледнел, умолял не делать этого, складывал кисти рук, как при молитве, и бормотал какие-то непонятные слова. А однажды сказал:

– Папа мой – нехороший человек. Если вы ему пожалуетесь на меня, он мне отрежет ухо.

– Что ты говоришь? Твой отец – культурный человек, скоро будет доктором наук, он неспособен на такую дикость!

– Вы его плохо знаете. Он мне рассказывал, что в детстве у него был друг, очень большой шалун. Отец отрезал ему пол-уха.

– И что, помогло?

– Конечно! Он стал большим человеком, работает первым секретарем райкома партии! Мой отец – плохой человек. Вы меня не выдадите? Мы получаем каждый месяц большие посылки из Ташкента. Яблоки, груши, изюм, гранаты, вино. Папа мне и маме даже попробовать не дает, а все относит своим профессорам, чтобы они проголосовали за его диссертацию.

Бохадыр в общении с мальчиками был веселым и добрым, вот только девочек люто презирал и не скрывал этого.

Однажды учительница литературы на перемене в учительской, смеясь, рассказывала:

– Вызываю Бохадыра, Спрашиваю: Образ Анны Карениной. Молчит, озирается. Ждет подсказки, А ее почему-то нет. Вызываю Иру Лопатину. Она еще не начала отвечать, как он прошипел: А ты, молчи! Ты женщина!

Десятый класс закончил с трудом, На выпускном вечере я спросил у него:

– Куда ты будешь поступать, Бохадыр? Ведь в аттестате у тебя сплошные тройки, да и то слабые.

– Не беспокойтесь. Я поступлю в Ташкентский Текстильный институт. Там почти все преподаватели из нашего кишлака.

– А потом?

– Потом я скоро стану директором текстильной фабрики.

– Почему ты в этом так уверен?

– Так ведь замминистра текстильной промышленности тоже из нашего кишлака. Так что не беспокойтесь!

И он улыбнулся незнакомой мне прежде улыбкой, в которой была уверенность в себе и даже превосходство передо мной, жалким директором одной из восьмисот ленинградских школ.

Следующая встреча произошла через двенадцать лет. За столом сидели тридцатилетние мальчики и девочки, но я без труда узнал почти всех. Кроме Бохадыра.

Я подошел к нему.

– Каковы твои успехи? Ты, наверное, уже министр?

– Нет, – ответил он серьезно. Директор комбината и член коллегии министерства. Но буду и министром. Через два года.

Как он изменился! Дело было не только в том, что на нем был безупречно сшитый костюм из какой-то диковинной с серебристой искрой ткани. И не в том, что он слегка располнел, ясно обозначилось брюшко. Дело было в его манере держаться, высокомерном и снисходительном взгляде. Он словно мстил своим бывшим одноклассникам за то, каким он был ранее в их глазах, а вот, подишь-ты, он – почти министр, а они – младшие научные сотрудники, инженеришки, каких под его, Бохадыра, началом – сотни.

Он ожидал восхищения, почтительности, а с ним мои милые ребята, разговаривали подчеркнуто так, как когда-то с Бохадыром Иманкуловым, немножко странным, но вполне обыкновенным, парнем.

Я спросил его об отце. Тот тоже весьма преуспел. Бохадыр смотрел на всех глубоко сидящими с недобрый взглядом, глазами своего отца, доктора медицинских наук, зам. министра здравоохранения.

Бохадыр словно почувствовал себя не в своей тарелке и вельможно “сделав ручкой”, ушел. Его ждала черная “Волга”.

А встреча друзей продолжалась. Ребята рассказывали друг другу веселые истории о школьных и институтских годах, рассматривали фотографии детей, танцевали, громко смеялись.

Им было хорошо. Они были счастливы и не заметили ухода будущего зам. министра.

Марлен Глинкин

ФАМИЛИЯ

Одну женщину звали так: Марихуана Героиновна Гашишкина.

Немного специфично, конечно. Разумеется, она пыталась сменить и имя, и фамилию, и отчество.

Но в соответствующей организации ей сказали:

– Не видим причин. Вот до Вас к нам обращался Уконтропупий Уконтропупьевич Гробокопытов, так мы ему, пожалуй, еще позволим что-либо сменить. Отчество, например. А у Вас все вполне благозвучно.

В таких случаях отчасти выручает замужество. Но Марихуана Героиновна и так была замужем. У мужа была фамилия Морфинистов, и супруги, конечно, решили не брать фамилии друг друга.

А работала Марихуана Героиновна преподавателем университета.

Первое время студенты попадались какие-то неиспорченные, и никаких ассоциаций у них не возникало.

Но потом студенты стали смеяться над Марихуаной Героиновной.

Пришлось ей идти работать в школу. Первые годы старшеклассники не смеялись, а потом стали.

Пришлось ей перейти в пятые классы.

Но постепенно и там стали смеяться. Это обстоятельство как раз совпало с приходом Ельцина к власти.

Спустя время, перешла она к первоклассникам.

Потом в детсад. И везде ее сопровождал дружный ребячий смех.

Наконец, она пошла работать в ясли.

– Ха-ха! – смеялись компетентные малыши. – Марихуана Героиновна – жена Морфинистова! Ха-ха!!

Ну, что тут будешь делать?

Марихуана Героиновна стала колотьяся.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Весело живет нынче в России: что ни день, то новые законы, что ни день – то рост преступности, что ни день – то новая партия.

На днях оппозиция партии любителей пива создала свою партию людей, носящих обувь сорок третьего и большего размера.

Новая партия – испытанный авангард трудового измученного народа.

В течение всей российской истории мировой заговор лиц с малыми размерами обуви мешал объединению высокосороковников.

Но сегодня час пробил, и мечта нескольких поколений простых работающих и любящих пиво людей свершилась: создана партия национального спасения от тесной обуви.

Сегодня – есть такая партия!

Сегодня высокосороковники, наконец, открыто могут гордиться славными представителями своей формации: Ворошиловым, Буденным, Стахановым, Пашей Ангелиной...

А кем могут похвалиться лица с малыми размерами обуви?

Что нам дали Эйнштейны и Оппенгеймеры?

Хиросиму и Чернобыль?

А Березовские, с Гусинскими?

Заказные убийства и чуждые простым людям телешоу?

Лица с малыми размерами обуви – все, как правило, мелкие как по габаритам, так и по глубине души.

Ничего, кроме заумности и неприятностей, дать человечеству они не способны.

Нет сомнения, что мелкую обувь носят и все авторы хваленой программы «500 дней», переросшей в сто дней чубайско-немцовских преобразований.

Кто виноват, что российский рубль стремительно падает, а американский доллар растет? Ответ ясен.

Но каждому ли ясно, кому и зачем понадобилось рушить храмы и предавать забвению веру в Высокий подъем?

Расчет был коварен: если бы простые люди читали Библию, они бы знали, что известный своими пирами Валтасар носил обувь пятидесятого размера.

Зато Каин и Моисей носили соответственно тридцать шестой и тридцать седьмой...

Вот почему лозунги новой партии просты и близки каждому пьющему трудящемуся и безработному человеку:

Долой засилье мелкоразмерников!

Нет международному заговору мелконожных!!

Обуватели всех стран, объединяйтесь на нашей сверхмодной платформе!!!

ТЮРЬМА

Тюрьма служит человечеству с незапамятных времен: именно в камерах с решетками из прутьев человек держал прирученных им животных.

Значителен вклад тюрьмы в культурное развитие человечества: в тюрьме великий Сервантес создал бессмертного «Дон Кихота»; не будь тюрьмы, не

было бы таких шедевров, как «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Записок из мертвого дома» Ф. Достоевского, «Кавказского пленника» Л. Толстого.

Благодаря тюрьме возникла камерная музыка.

Яркими сюжетами обогородила тюрьма отечественную живопись: «Княжна Тараканова», «Меньшиков в Березове», «Всюду жизнь» ...

По-итальянски слово «камера» означает «комната»; раньше и теперь по-русски слово «комната» часто означает...

Тюрьма решительно вторглась в науку и жизнь:

барокамера, термокамера, камера хранения...

Крикуны-демократы пугают народ ужасами тюрьмы.

Народ же издавна считает: «Кому тюрьма, а кому – мать родная».

Так не забывайте же вашу мать родную! – твердит народу российское правительство.

СКЛЕРОЗ

Обнаружив, что Вас начала подводить память, не огорчайтесь.

Это склероз. Он поможет Вам забыть массу неприятных и маловажных вещей.

Необходимые же я помогу Вам легко восстановить.

Для этого советую широко пользоваться способом ассоциативного мышления, т.е. связывать одно с другим, а другое – с третьим. Оно и зацепится.

Например, номер телефона 32-37-54 вы запомните при помощи простых ассоциаций.

32 – год Вашего вступления в партию, 37 – арест, а 54 – реабилитация. Вспомнили – и камень с сердца свалился.

Другой пример. Зять должен Вам 100 марок. Чтобы вспомнить это трудно запоминающееся число, возьмите первое пришедшее Вам в голову, скажем,

78 – Ваш возраст, прибавьте к нему номер Вашего дома – 27, этаж – 6 и отнимите номер одного из автобусов, проходящего мимо Вашего дома, – 11-й. Число восстановлено, можете смело звонить зятю.

– Боря, ты не забыл про сотню, которую должен?

– Папуля, зай ги зунд! – услышите в ответ. – Я же тебе ее вернул в прошлом месяце.

И Вы успокоились. Имена запоминать труднее – они похожи.

Но и тут не теряйтесь. Даже, если забудете имя своей жены, не страшно. Назовите ее кошечкой, ласточкой, солнышком. И Вам легче и ей приятно. Даже в аптеке не следует теряться перед трудно запоминаемыми названиями лекарств. Вот примерный список рекомендованных ассоциаций:

папазол – римский папа после покушения

аллохол – Алла Пугачева скандалит в холле гостиницы

амбасекс – полная импотенция.

Пользуйтесь моими советами и Вам не нужно будет обращаться... не нужно будет обращаться... не понадобится заниматься...

Господи! Что я хотел сказать?..

ЯСНОВИДЯЩИЙ

В первые перестроечные годы довелось мне работать с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

Первое время, пробудешь с ним часа три на сцене, голова раскалывается... и никаких мыслей.

Чего бы это, думал я? Ведь и о своих необыкновенных способностях я еще в детстве узнал.

Помню, вызвала меня учительница истории и спросила, когда в России произошла Великая Октябрьская революция.

Ну, я и брякнул, что в октябре семнадцатого. Оказалось, верно.

Шли годы. Однажды в компании друзей зашел у нас разговор о войне России с Наполеоном. И никто не мог вспомнить, когда эта самая война началась. Ну, я возьми и скажи, что в 1812 году.

И надо же – угадал!

А буквально на днях у нас в шпильхалле на Кантштрассе никто не мог вспомнить, кто открыл Америку. А мне в голову ударило: Колумб!

Оказалось, в десятку попал! Друзья очень удивились, как я когда-то способностям Кашпировского, и посоветовали мне здесь, в Германии, евреям будущее предсказывать.

Теперь только этим и занимаюсь. Каждому, кто просит и платит десять марок, предсказываю одно и то же: автомобиль, крупный выигрыш в лотерею, богатую любовницу или любовника. А если не женат – красавицу жену.

И все уходят от меня с радостью и со здоровым румянцем на щеках. Потому что жить в ожидании светлого и счастливого будущего, даже сидя на социале, не так уже и плохо. Особенно в Германии.

СТРИПТИЗ

Вначале женщина сняла пальто. Отброшенное на стул, оно упало, осветив тусклую подкладку.

На лице мужчины не дрогнул ни один мускул.

Тогда она сорвала с плеч кофточку.

Мужчина невозмутимо сидел в кресле.

– Ну? – она скинула стоптанные туфельки. Ее пальцы судорожно расстегивали застиранную блузку.

Мужчина был нерушим, как памятник.

– И сейчас ты можешь оставаться спокойным?

За блузкой на ковер полетела юбочка. Мужчина молча глядел куда-то сквозь нее...

– Неужели и это тебя не трогает? – зарыдала она. – Дундук толстокожий!

Колготки женщина снимала медленно и осторожно, постепенно оголяя тугие, красивые ноги.

Он не шевельнулся.

– Это взволновало бы любого нормального мужчину! А ты – ноль эмоций!

А может, ты не совсем нормальный?!

В гробовой тишине треснул лифчик, порвавшись возле застегжки. Женщина стояла в одних трусиках и с вызовом глядела на него. Он же был спокоен, как фараон на рыбалке.

– Ты не мужчина! Ты не мужчина!! – вдруг истерически закричала она. – Если бы ты был настоящим мужиком, ты бы ни за что не позволил ЖЕНЕ ходить в таких лохмотьях!!!

ИСКАТЕЛЬ

(газетные объявления, или «он ищет ее...»)

«Одинокий мужчина 30 лет, рост 170 сантиметров, густоволосый брюнет, без вредных привычек, желал бы познакомиться с девушкой умной, с высшим образованием, музыкальной, начитанной, с чувством юмора, любящей секс и детей, а также готовить и стирать. Звонить по телефону 252-40-45»

Его же объявление через десять лет:

«Мужчина 40 лет, рост 168, брюнет, с ограниченным использованием вредных привычек, ранее женатый, воспитывающий двух близнецов по 9 лет, еще раз рискнул бы познакомиться с женщиной без претензий, не обязательно умной, можно без высшего, но с чувством юмора, не обязательно любящей секс, но любящей детей и стирку. Звонить по телефону 252-40-45»

Еще через 10 лет:

«Мужчина 50 лет, рост 165, с оригинальной проплешиной, дважды женатый, воспитывающий трёх детей, ораву ранних внуков, не имеет другого выхода, как познакомиться с женщиной любого роста и умственного развития,

но любящей с чувством юмора стирать и совместно бороться с вредными привычками. Звонить 252- 40-45»

Еще через 10 лет:

«Мужчина 60 лет, рост, стоя, опершись, 160 сантиметров, лысый, как бильярдный шар, не имеющий сил на вредные привычки, забывший всё о сексе, готов стирать для женщины, имеющей хотя бы чувство юмора. Звонить 252-30-45»

Миновало еще время:

«Снова одинокий мужчина, 70 лет, рост и цвет неопределенный, много перенесший в жизни, уже ничего не хочет, кроме как немного юмора. Просьба рассказывать ему анекдоты по телефону 252-30-45 в любое время. Можно старые, потому как память, проклятую, совсем отшибло...»

ЕВРЕЙСКАЯ СТРАСТЬ

Над Берлином опустилась теплая летняя ночь. Гробовая тишина в квартире Кацнельсонов. И вдруг...

Кровать заскрипела со страшной силой.

– Фима! Ну, погоди, я прошу тебя... Убери собаку, она так внимательно наблюдает за нами, что мне даже как-то неловко...

– Лада, пошла на место!

– А теперь проверь, заперта ли входная дверь.

– Да, я ее запер на три замка. Это я хорошо еще помню.

– Опустит шторы. Из соседнего дома за нами могут наблюдать. Соседи уже как-то говорили, что, когда мы начинаем заниматься... этим делом, нужно гасить свет.

– Вот видишь, я опустил шторы и погасил свет. Ну, что ты еще хочешь? Давай уже начинать...

– Фима! У тебя руки дрожат... И дыхание тяжелое. Успокойся, а то мне неприятно.

– Хорошо, хорошо... Я уже успокоился. Это тебя больше устраивает? С той последней ночи прошло уже три месяца.

– Фимочка! Скажи мне, только честно, ты в самом деле готов? Тебя ничто не останавливает?

– Готов, готов... Как никогда!

– Ну, ладно. Тогда вспарывай матрас и пересчитаем все деньги, сэкономленные за счет социала...

ПЕРЕПИСКА

Говорят, что евреи живут в Берлине «дружной» эмигрантской семьей...
Если это действительно так, то...

Извините?! Нескромный вопрос:

– Вам жена изменяет?

Да, не обижайтесь Вы на меня, я к слову спросил.

Один мой знакомый, когда узнал, что жена ему изменяет, тоже ничего не сказал. Дождался, когда она ночью уснула, достал из-под подушки фонарик, взял красный фломастер, откинул одеяло и написал на левой ягодице всё, что думает о ее любовнике.

Много и зло написал. Большая это была женская часть...

Назавтра жена отвела дочурку в детский садик и ... к любовнику. А там – как в кино: объятия, поцелуи, шампанское ... секс, наконец. В процессе «общения» сексбой прочел надпись.

Устав от любви, «девушка» сладко задремала.

Любовник взял синий фломастер и вывел ответ на правой половине «листа».

Муж, еле дождавшись ночи, с гневом прочел ответ. Написал новое послание. Завязалась оживленная переписка.

В результате выяснилось сходство характеров, взглядов и наклонностей, мужчины назначили встречу, следствием которой явилась нежная дружба на всю жизнь.

Сейчас они вместе борются за права гомосексуалистов во всем мире.

Владислав Голков

О “НЕМЕЦКОЙ” ЦВЕТАЕВОЙ, “СТУКАЧЕ” И АКТЕРСКОМ МАСТЕРСТВЕ

Три байки из жизни Сергея Гладких – переводчика,
художника и актера.

Наверное, большинство знающих русский язык жителей Берлина очно или заочно знакомо с ним. Кого-то увлекли переведенные им книги и пьесы, кто-то встретил его фамилию в составе редколлегии альманаха “Студия”, где он заведует немецкой редакцией, кто-то побывал на выставке его картин или видел актерские работы в кино, на телевидении, слышал по радио. Интересы этого человека разнообразны и порой кажутся противоположными (хотя сам он никогда так не считал). И в каждой из своих “ипостасей” добился таких результатов, что о нем стали ходить байки, одна другой забавней. И мне вдруг подумалось, что именно эти порой анекдотичные истории помогут точнее рассказать о неординарном человеке. Итак...

БАЙКА ПЕРВАЯ.

Рассказывают, что молодой переводчик Сергей Гладких, полгода прожив с подругой под одной крышей, наконец, признался, что он не немец. Подруга ему не поверила, заявив, что иностранец не может так овладеть немецким.

Не рискую поручиться за достоверность этой истории. Но вот другой эпизод, свидетелем которого был лично. Как-то вечером мы “ловили” такси на Унтер ден Линден. Сергей нервничал: опаздывая на заранее обусловленную встречу. Наконец, машина остановилась возле нас, Сергей назвал адрес, рассказал, каким путем добраться быстрее, и, облегченно вздохнув, сказал мне что-то вроде: “Слава Богу, теперь не опоздаем, неудобно людей подводить”. Неожиданно водитель обернулся и, широко улыбаясь, произнес “комплимент”: “Как вы хорошо говорите по-русски!”. Ему и в голову не пришло, что с ним разговаривал иностранец.

... Первого сентября исполнилось двадцать два года с того дня, как Сергей Гладких приехал в Берлин. Каждый год, конечно же, давал прибавку в совершенствовании языка. Да и появились эти знания не на пустом месте: была в Ростове-на-Дону спецшкола с преподаванием ряда предметов на немецком, где выпускника Гладких освободили от госэкзамена “в связи с высокими показателями в учебном году”, был институт иностранных языков им. М.Тореза – самый престижный языковой вуз, где для поступления требовался стопроцентный балл. И все же, чтобы достичь совершенства, всего этого, мне кажется, недостаточно, нужны какие-то особые качества. Переводчик, я думаю, должен обладать талантом. Сергей не оспаривает это, но у него на этот счет свое мнение:

– Талант нужен в любой профессии. Когда я учился в школе, было такое течение - политехническая ориентация. Попросту говоря, старшеклассникам давали азы рабочей специальности. Так вот, я учился у сапожника. Практически безграмотный человек был, но в своем деле – бесспорный талант. Какую он обувь тачал – залюбуешься! В нашем деле талант – это на 90 процентов трудоспособность и усидчивость, а уж остальные десять – природные данные. Помню, в институте кое-кто шел на танцы, а я – в лингафонный кабинет, кто-то выбирал вечерние прогулки под луной, а я – занятия со словарем. Так и получилось, что на последнем курсе меня уже порой спрашивали: ты немец или русский?

Логично предположить, что благодаря именно таким успехам в учебе он оказался в Германии, получив в вузе соответствующее распределение. В жизни все было совсем не так. Распределения он не получил вообще. Дело в том, что в институте он подружился со своей будущей женой, немкой Клаудией. И за это, не то что распределение не получил, чуть не был выселен из Москвы. От него отвернулись даже те, кому он делал необходимые переводы с немецкого, оказывал бескорыстную помощь – такое это было тогда преступление. В мае 76-го они расписались, и ему быстренько, думаю, даже с облегчением, дали разрешение на выезд. Так он оказался в ГДР.

И тут уже не было проблем с работой – в ГДР тогда к русским относились с почтением. Тем не менее, Сергей не очень охотно вспоминает о том времени. Вот что он рассказывает:

– В ГДР почти до самого объединения Германии официальной была политика заискивания, что ли, перед СССР. Neues Deutschland – главная газета страны. – практически копировала «Правду», во всяком случае, не меньше, чем наполовину, во всех театрах шли русские пьесы. По стране даже ходил такой анекдот: «Почему Хонникер развелся с женой? – Брежнев целует лучше!». Тем не менее, нам, русским, жилось здесь не сладко. Никто из нас ведь не отказывался от гражданства и фактически мы оставались советскими людьми. То есть, по возникавшим проблемам мы обращались (вынуждены были обращаться!) в советское посольство. Но как там к нам относились! Враги народа! А между тем, официально нам даже присылали приглашения на

различные мероприятия, проходившие в клубе посольства. Но я там не часто бывал. Один раз, помню, пошел на вечер, посвященный годовщине Октября. Был доклад часа на полтора, а потом фильм «Ленин в Октябре», который я с удовольствием посмотрел раз в шестой, но больше меня в этот клуб не тянуло. Вот и вся «русская культура», другой тогда в Берлине не было. Казалось бы, единственный выход в такой ситуации для русскоязычных иностранцев – общение между собой. Не могу говорить обо всех, но лично я такого общения не искал, даже старался его избегать, слишком памятливы и болезненны были институтские перипетии. Так, пара знакомых была в актерской среде. А пресловутая ностальгия?... Один мой приятель лечился от ностальгии радикальным способом. Он ехал в Потсдам, шел в советский ресторан, там ему хамили, обсчитывали его – и ностальгию как рукой снимало. А у меня ее как-то не было. Знание языка позволяло общаться с немцами, которые нормально к нам относились, не было никаких проблем. Другое дело наша армия. К солдатам относились двойственно: не любили, как оккупантов, и ... жалели. Они ведь жили, как в тюрьме – ни шагу за территорию военного городка, вроде, служили в Германии, а Германии не видели. А офицеры? Их, думаю, презирали. Поскольку видели чаще всего в русских ресторанах, при сильном подпитии пытавшихся что-то продать с себя – часы там, значки – чтобы добавить...

Такая вот безрадостная картина прошлого... Но вернемся к дням сегодняшним...

Приехав в ГДР, Сергей сразу же стал переводчиком на телевидении, где вплотную столкнулся с литературным переводом, которым и занимается уже более двадцати лет. Переводит современных авторов и классику. Недавно вышла в его переводе книга К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Наверное этот факт может вызвать недоумение: разве не было раньше перевода этой хрестоматийной работы?

«Был, – поясняет Сергей. Лет сорок пять назад сделан и, кстати, довольно слабо. И это совсем не единичный вариант повторного, третьего, пятого и т.д. перевода. Не так давно я сделал для театра Volksbühne перевод пушкинского «Бориса Годунова». Существует уже шесть или семь вариантов. Но режиссеры сочли нужным сделать новый, более современный, что ли. Язык ведь живая материя – это не мое открытие»

Так получилось, что больше всего внимания в своей творческой работе он уделял пьесам, которых перевел немало. Единственную пьесу Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь», четыре – Алексея Шипенко, «Ревизора», малоизвестную пьесу Л.Леонова «Приручение Бададошкина». Все и не вспомнишь. Впрочем, и проза не осталась в стороне (список переведенных прозаических работ занял бы не одну страницу), и поэзии уделил не мало времени: Цветаева, Хлебников, Ахматова... Но как считает Гладких, все это поэтическим переводом назвать нельзя. Скорее – подстрочный. Он показывает, как образец, сборник стихов Мандельштама, над которой работал вместе с

как образец, сборник стихов Мандельштама, над которой работал вместе с немецкой поэтессой Elke Erb, в книге даются стихи на русском, а рядом – подстрочный перевод.

– Вообще поэзию, думаю, достоверно перевести невозможно, в такой работе больше будет от переводчика, чем от автора, – говорит Сергей.

– А Маршак? Его перевод Роберта Бориса? – пытаюсь возразить

– Это редкое исключение. Здесь полное совпадение характеров, образа мышления, что ли, у автора и переводчика. Аналогов, я думаю, больше нет.

Есть в работе переводчика одна «закавыка» – понятия, которых нет в другом языке. Скажем, как перевести слово “комбед” или “совнарком”, “ликбез”. Для Сергея, как для истинного профессионала, это не проблема. Гораздо сложнее было для него убедить редакторов, что он достоверно переводит с русского на немецкий. Это ведь крайне редкий вариант, когда переводят с родного языка на неродной, обычно бывает наоборот.

В самом переводе у него проблем нет – ни в письменном, ни в устном. Даже если работает со знаменитыми людьми, такими, как Вилли Брандт, например, Терешкова, Лужков, Черномырдин... Всех невозможно вспомнить. Он, кстати, полностью переводил акт прощания с русской армией.

В завершение этой темы задаю Сергею «каверзный» вопрос: ты sny на каком языке видишь?

– А это как когда. Поровну на русском и немецком, а порой и на французском.

– ???

– Я ведь в институте и второй язык изучал, так что запросто могу работать переводчиком с французского.

БАЙКА ВТОРАЯ

Рассказывают, что однажды Сергей Гладких нашел на свалке старый чемодан, “колдовал” над ним какое-то время и сделал три абстрактные картины, которые потом восхищали зрителей на многочисленных его персональных выставках.

Байка эта похожа на действительность, поскольку материал для своих картин член Союза художников ГДР Гладких (кстати, и член Союза писателей) может найти где угодно: на свалке, в гараже, просто на улице... На одной из его картин среди разнообразных дощечек, кусков кожи, обгоревшей бутылки укреплен обычный крюк, которым натягивают волейбольную сетку. На мой вопрос, почему этот крюк обращен вниз, Сергей серьезно ответил: если его повернуть вверх, то это будет очень жестокая картина. И все. Пояснений к своим картинам он обычно не дает, считая, что, если зритель сумел понять

авторский замысел, нашел для себя что-то волнующее – получит эстетическое наслаждение, а не сумел – ваши проблемы. Видимо, поэтому он никогда не дает названий своим картинам.

Художественным творчеством Сергей увлекся давно. Еще в детском саду лепил из глины громадные сооружения. Позже в институте занимался резьбой по дереву. Одна из таких работ хранится у него до сих пор и была единственным, что он привез с собой из Москвы. К тому же, это единственная работа, имеющая название. Этокое страшилище с кривым удлинненным ртом и громадным носом. Работа называется “Стукач” – понятие широко распространенное в годы его учебы и особенно в их вузе. Позже стал рисовать нормальные картины, красками. Но увлекался этим очень недолго.

Чем же не угодили ему краски? Как сказали бы в Одессе, всю Одессу удовлетворяет, а его, видите ли, нет. Но Сергей поясняет очень спокойно (у него вообще такая манера говорить – спокойно, невозмутимо, и, кажется, ничто не может вывести его из равновесия; по-моему он из категории людей, у которых внешнее спокойствие обманчиво: внутренний темперамент и буйство страстей ведь скрыть невозможно):

– В какой-то момент я действительно понял, что краски меня не удовлетворяют. Слишком податливый материал. По-моему, на смену им пришло фото, которое гораздо лучше отображает реалистический мир. Другое дело кожа, металл, бумага – то есть те материалы, которые как бы уже прожили одну жизнь, и в новой – возрождаются. Они сами диктуют свои условия, направляют по определенному руслу. Такие мысли и привели меня к абстракции, которая, считаю, дает свободу не только автору, но и зрителю. Каждый может найти то, что его трогает, отражение своих эмоциональных чувств. И не встает элементарный вопрос – похоже-непохоже.

Наверное это странно звучит, но Сергей Гладких никогда не пытался узнать понятны ли зрителям его картины и вообще, нужно ли кому-нибудь его искусство. И никогда не стремился к рекламе, к участию в выставках. Все произошло, как часто в жизни бывает, совершенно случайно. Знакомые привели к нему сотрудницу очень престижной в ГДР “Galerie Mitte”, и она (говорят, с большими трудностями) добилась его персональной выставки. А затем предложения посыпались, как из рога изобилия, с одной выставки экспонаты перевозились на другую. И выяснилось, что людям нужны его картины, они их принимают. И покупают. Две картины купил Deutschland Theater Berlin, несколько хранится в частных коллекциях в Вене, в Генеральной дирекции швейцарской авиакомпании, в госмузее в Роттердаме и т.д...

Разговор о планах Гладких-художника не получился. Оказалось, что он никогда не разрабатывает тем заранее, не планирует будущих картин. Бывает по два года не делает ни одной новинки, а в прошлом году создал более двадцати картин. «Мои работы – это ведь не выполнение каких-то поставленных задач, – говорит Сергей, – а передача эмоций, настроений. Сие, как понимаешь, не планируется...

БАЙКА ТРЕТЬЯ

Рассказывают, что в ресторане «Интурист» сибирского города Братска как-то произошло маленькое ЧП, имевшее широкие последствия. “Виновниками” стали члены творческой группы телевидения ГДР, снимавшей в Братске передачу “Мы говорим по-русски”. Не все, конечно. А два ее актера – Сергей Гладких и Алексей Резник (урожденный тамбовчанин, тоже долгое время живший в Берлине). В разгар ресторанного вечера они вдруг поднялись и, чеканя слова, исполнили “Боже, царя храни”. Не вдаваясь в суть происходящего, оркестр им подыграл, а кое-кто из зала – подпев. Говорят, у представителей советского телевидения и “референтов в штатском” вытянулись лица, но все сделали вид, что ничего не произошло, А позже... Позже немецкое телевидение, якобы, получило от советского – официальную бумагу, где говорилось, что мы с вами с удовольствием сотрудничаем и т.д. и т.п. , но вот этих... двоих просим из состава группы исключить...

Не ручаюсь за детали, но, в целом, событие, как говорят “имело место”. Так что же это было? Протест против существующего строя, ностальгические переживания или попросту озорство? Скорее всего, и то, и другое, и третье. Сергей по этому поводу говорит, что как раз в это время он закончил перевод “Ревизора” для “Максим-Горький-театр”, и пришла ему в голову идея, что в придуманную режиссером сцену, чуть ли не в бане, где герои завернуты в простыни, можно вставить этот самый царский гимн, видимо, как символ верноподданничества (и идея, кстати, была воплощена). Вот и вертелись на языке слова гимна.

Как бы то ни было, а хоть с передачей “Мы говорим по-русски” пришлось расстаться, но на дальнейшую актерскую судьбу Сергея эпизод не повлиял. И теперь за его спиной десятки ролей, сыгранных на телевидении, в кино, на радио.

Актерская линия в его биографии – тоже Господин случай. Переводил на немецкий сценарий фильма “Карл Маркс”, который ставил в ГДР Лев Кулиджанов. Он и предложил сыграть небольшой эпизод. А дальше – как звенья в цепочке. Одно следовало за другим. Попал в картотеку киностудии и начали поступать предложения сниматься. Кстати, любопытная деталь... Сценарий “Карл Маркс” был написан на русском языке и изобилует цитатами из Маркса, но без ссылок на первоисточник. Что было делать? Перечитывать заново всего Маркса? На это ушла бы уйма времени. И он переводил Маркса снова на немецкий.

Мне, все же, хочется понять как дается ему актерская работа, ничего общего не имеющая с основной профессией?

– Не скажи, – возражает Сергей. Литературный перевод сродни актерству. Надо проникнуться идеями переводимого, понять его суть. По существу тот же принцип Станиславского” я в предлагаемых обстоятельствах”...

Роль в его актерской биографии было много, но мало какие он выделяет особо. Как-то в театральном спектакле играл самого себя – русского переводчика. Наиболее удачная, я думаю, роль в фильме Иоселиани “Охота на бабочек” и в отмеченной премией одного из кинофестивалей ленте “Spreeboden”...

На этом можно было бы поставить точку. Но думаю, портрет Сергея Гладких будет неполным, если не рассказать о еще одном его увлечении. Закончил футбольную школу молодежи, был приглашен в дублирующий состав ростовского СКА, провел несколько матчей в основном составе. И если бы не серьезная травма... Кто знает? Быть может, засверкала бы еще одна, четвертая грань его таланта.

Маргарита Их

АКВАРЕЛЬ

Роза была красива извечной библейской красотой еврейских женщин. Когда она проходила нашим длинным барачным коридором, соседки приоткрывали двери, чтобы взглянуть на нее. Она шла и улыбалась так, точно была окружена всеми удобствами и радостями жизни, но жили они с бабушкой впроголодь, денег не было никаких.

Ткачихи, возвращаясь со смены, растапливали плиту, ночами готовили обед. Розочкина бабушка стояла в дверях, ей отливали немного супа. Считалось, что Роза об этом не знает. Наши женщины иногда спрашивали:

– Роз, ты что, так и проходишь всю зиму в этой кофтенке?

Она в ответ смеялась:

– Обо мне не беспокойтесь, у меня есть всё, чтобы быть счастливой.

Счастье ко мне скоро придет.

И правда, счастье – это Розин жених Наум. Талантливый, умный: и шахматист, и математик, и художник. Розу рисовал беспрестанно, только Розу.

Однажды подарил Розе акварельку: осень; в поле всё сжато, только два колоска остались, один прямо стоит, другой надломлен ветром, гнется к земле. Розина бабушка, посмотрев на картинку, посуровала:

– Ты, Наум, что же делаешь, что рисуешь? Беду накликаешь. Я это в комнате не повешу, пускай на кухне висит.

И сразу начало всё меняться. Как-то я услышала, как Роза говорила бабушке:

– Что ж, у меня вся жизнь так пройдет, только с ним? Ничего другого не будет?

Потом девчонки стали говорить:

– Не любит она Наума. Всё врет, как в театре играет.

В самом начале войны Роза уехала к родным на Украину, Наум ушел на фронт. Они даже проститься не успели.

Мы долго о них ничего не знали, но в конце войны пришло письмо из Розино города. Письмо от подруги. Она писала, что, когда по улице вели евреев, она увидела Розиных родных – и мать, и отчима, и сестер. Розы среди них не было.

Примерно через месяц пришло второе письмо: длинное и страшное. Писала та же женщина, писала очень подробно, стараясь ничего не утаить. Роза приехала домой за неделю до оккупации. Кое-какие слухи уже доходили, евреи спешно покидали город. Розина семья оставалась, пришло время рожать старшей сестре. У Розиной бабушки была хатка в деревне. В обмен на эту хатку

согласилась Гавриловна спрятать девушку. Ночью, захватив чемоданчик, Роза ушла на хутор.

Отношения с Гавриловной у нее не сложились сразу. Роза рвалась в город. Там в фабричном клубе по вечерам бывали танцы. Там с молодым немецким офицером Роза в четыре руки играла на рояле.

Поначалу в городе было спокойно, Роза еще похорошела, прямо расцвела. По дому Гавриловне не помогала, целые дни слонялась из угла в угол, что-то напевала. Гавриловна ворчала:

– Хоть бы борщ варить поучилась!

Роза отмахивалась:

– Мне не пригодится.

Как-то Гавриловна нашла в Розиных вещах золотое кольцо.

– Откуда?

В ответ:

– Что Вы всё придираетесь? У подруги взяла поносить.

Гавриловна знала – ни у кого из Розиных подруг такого кольца быть не могло. Разобраться не было сил. Над Гавриловной нависала другая беда, не менее страшная. На хуторе, по соседству, жил старый еврей. Не работал, всё читал Талмуд да молился. Гавриловна его подкармливала. В каких они были отношениях, никто не знал. Когда пришли повестки, старик сказал:

– Не пойду.

Гавриловна вырыла в лесу яму, обложила хворостом, там решила спрятать друга. Подрядилась в соседнюю деревню доить коров. Возвращаясь с фермы, заносила молока, немного хлеба. Снег в эту осень выпал рано, на тропах четко выделялись следы. Пришлось старика забрать в хату, спрятать в чулане. Там его обнаружила Роза. Вбежала в хату с криком, проклятьями:

– Чтобы его завтра же здесь не было! Его и себя погубите, а я свое счастье растоптать не дам!

Глотая слезы, прошептала:

– Люди узнают, выдадут.

Гавриловна спокойно ответила:

– Люди про тебя знают и не выдают. И нас не выдадут.

В эту ночь Роза исчезла, чемоданчик оставила. Гавриловна глянула – колыба нет.

На утро за ними пришли. В городе говорили открыто:

– Это Роза их выдала.

Когда война кончилась, в город приехала “тройка”. Розу судили. Доказательств ее вины не было, но срок дали большой.

В конце сороковых позвонил Наум. Просил всех собраться, пришло письмо от Розы. На кухне, где еще висела акварелька, собрались мы – все, кто остался.

Роза писала, что срок на лесоповале отбыла, сейчас в Сургуте, без денег, без валенок. На работу не берут, ходит по домам, просит пустить погреться. Зовет Наума приехать.

Среди нас евреев было только двое: Наум и я. Все смотрели на меня, понимая – мне решать, да и Наум сказал:

– Как Ишка решит, так и будет.

Я смотрела на акварель, там всё гнулся, гнулся к земле колосок. Я сказала:

– Поезжай.

Ребята отвернулись от меня. Не того ждали, все еще помнили войну.

Наум подошел, обнял:

– Спасибо, Ишка. Мне бы только взглянуть на нее. Я всё решу сам. Ты знаешь, мои все – там, под Минском, в братской могиле...

Поехал в Сургут. Вскоре вернулся, сказал:

– Мне с ней нельзя.

АНЖЕЛИКА

Она итальянка. Белокурая красавица. На вид ей лет двадцать, может, чуть больше. Она блестит и переливается, как перламутр. Она вашмашина.

Увидала я ее в грязноватой комиссионке на Шонхаузераллее, решив, что на улице с таким названием ничего плохого продаваться не может.

Меня предупреждали: подержанные вещи можно покупать только у немцев, но я по гороскопу Львица, всегда сама лучше знаю, что мне делать, и этим советом я, к сожалению, пренебрегла.

Вашмашину мы с водителем с трудом втащили в грузовичок. По дороге она два раза падала. За красоту и строптивый нрав я назвала ее Анжеликой. И опять-таки зря, потому что в имени есть магия, имя предопределяет характер. Имя “Анжелика” вполне соответствовало характеру этой чертовой вашмашини.

Довольно крупненькую Анжелику мы с трудом засунули в какой-то закуток в туалете, я засыпала порошок и попыталась включить. Она вдруг разлилась и дернула меня током. Довольно сильно. Сначала я на Анжелику не подумала, решила, что виновата розетка. Зазвала электрика, благо живу в Кройцберге, у нас специалистов-электриков пруд пруди.

Пришел специалист, сначала оглядел меня – ничего, во вкусе, только старовата. Анжелика обиделась за меня и здорово его долбанула. Он сказал, что у него даже во рту покислело, то есть, я думаю, что он так сказал, потому что турки говорят по-немецки, а я еще нет. Ни ко мне, ни к Анжелике он больше не притронулся, даже денег не взял.

Я ей сказала:

– Стерва, нам же с тобой жить. Будешь такое вытворять – выкину на помойку, то есть в контейнер.

Но Анжелика, очевидно, до меня побывала во многих семьях и знала: выкинуть ее – проблема, легче держать дома.

Анжелика хихикала и продолжала вести себя так же. Розетку я сама проверила, она оказалась в порядке.

От Макаренко я знала, что в некоторых случаях надо бить. Стукнула Анжелику молотком. Подействовало. Она присмирела, разрешила выстирать в себе кое-какое белье, но на короткой программе, на длинной заскучала, стала трещать и искрить.

Свой протест Анжелика выражает однозначно: выкидывает неотжатое белье. Вытаскиваешь его, а на пол льется вода, притом холодная.

Утро у нас начинается так.

– Анжелика, – кричу я, – сегодня будем стирать простыни.

В ответ враждебное молчание, – мол, только попробуй!

– Анжелика, где мой молоток?

– А мне все равно, я твое белье уже пять раз стирала. У меня дома, в Палермо, белье стирают раз в три месяца и ничего!

– Ты не дома, ты в Германии, здесь белье стирают каждую неделю, даже чаще, немецкие машины с этим прекрасно справляются. И стоят в три раза дешевле, а тебя даже в ремонт не берут, ты без паспорта и вдобавок иностранка.

– Ну и покупала бы себе немецкую, зачем меня покупала, чтобы было с кем ругаться?

И в том же духе еще полчаса. Но в какой-то момент Анжелика, как и всякая красавица, становится доброй и тихой, разрешает себя включить, старательно что-то крутит, повизгивает, трясется.

– Анжелика, – кричу я, – прекращай трястись, ты расшатаешь перекрытия!

– Отстань, я вообще могу остановиться. Я домой хочу

И останавливается. Понятно, ее надо выбросить, но дело в том, перефразируя Чехова, можно сказать, что причина в том, что я люблю Анжелику, а в чем причина этой любви – не знаю.

ОКНО

Я стою у окна. От моего дома улица круто поднимается в гору. Сейчас она тенистая от тополей, а зимой, ссутулившись, подняв воротник, ты спускался с горы. Искал глазами мое окно. Если я бывала дома одна, свет горел только в кухне. Не дождавшись лифта, взбегал по лестнице. Насколько ты моложе меня!

Обнявшись, мы долго стояли в темной передней. Вздрагивали от каждого звука: вот-вот вернется муж, Маришка придет из школы. С неммым вопросом ты взглядывался в мои глаза: все так же, ничего не изменилось?

Ты уходил, а я опять стояла у окна, мысленно проходя долгий путь от нашей окраины до твоего дома. Созревало решение: разбить все препятствия, мешающие тебе остаться.

Теперь после окончания всех разбирательств, повесток, судов, я наконец-то свободна. Я стою у окна и жду.

Когда ты придешь, я зажгу свет во всех комнатах, а на кухне будет гореть свеча. Мы будем пить чай вдвоем. Ты пододвинешь мне стул, оправишь скатерть. Движения легки и грациозны, не зашуршит салфетка, не звякнет ложечка в стакане. Тишина и покой. Как много людей вечерами пьют чай вдвоем и не знают, что это счастье.

Третий вечер нет звонка. Я восхищаюсь тобой, твоим благородством и чуткостью. Ты решил не тревожить меня, дать немного отдохнуть. Зря это ты, я могу отдохнуть только с тобой.

Облетают тополя, как снегом засыпана улица. Уже восьмой час, а звонка все нет. Я знаю, почему ты не звонишь, у тебя, наверное, опять переговоры. Ты не можешь говорить со мной при посторонних, я ведь еще не жена тебе.

Я знаю, у нас все хорошо, ты позвонишь непременно. Но откуда эта боль? Впервые она пришла сегодня ночью. Что это, предчувствие потери или просто тоска по тебе? Я боюсь этой боли, гоню ее, ищу тебе оправданий, но она все чаще и чаще.

Надо собрать силы, подумать все до конца и сказать себе: “Он больше не позвонит. Никогда”.

Как на экране, прокручивается длинный фильм наших отношений. Стоп. Вот ступенька, с которой начался спуск. Мы стоим, обнявшись. Я, глотая слезы, говорю, что мне надоела неопределенность наших отношений, что хочу покоя, любви и семьи. Я для этого делаю все, что могу, но и тебе надо что-то делать. Надо развестись с женой, надо найти квартиру, надо сменить работу. Сколько раз сказала я тогда это слово “НАДО”?

Теперь я понимаю, насколько наши беглые поцелуи под вешалкой, моя доверчивая и робкая любовь были тебе милее этого НАДО. Ты, наверное, уже тогда понимал, что мои НАДО ни к чему не приведут, кроме встречи в конце пути со стареющей женщиной и взрослой чужой дочерью.

Тополинный пух залетает в окно, пушистым зверьком лежит на полу. Надо бы подмести.

С той ступеньки начались твои командировки, какие-то переговоры, приезд друзей твоей мамы, платочек в кармане куртки, пахнувший незнакомыми духами.

Ты не позвонишь никогда. Это приговор. Вот я и расплываюсь за всю слабость. За боязнь догадок, подозрений, ревность. Теперь я буду пить чай одна. В комнате Маришка с женихом будут смотреть телевизор. Геронтологи определили, женщины живут в среднем 65 лет. Сколько еще дней мне придется прожить без тебя!

Вечерет. Холодно. Надо закрыть окно.

КАНЕТ - ДЕ - МАР

В его имени зашифрована тайна – Канет - де - Мар. Крошечный городок у моря застыл в веках. Город настолько мал, что в нем не строят отелей, ресторанов, бассейнов. Негде. Выютя по горам кривые улочки, дома и соборы из нетесаного камня.

Всё, как было. Сверкают из-под темных ресниц лукавые глаза каталонков, мелькают стройные ноги юношей, старушки на чугунных скамейках который век подряд осуждают нравы современной молодежи.

В таких городках с людьми происходят необыкновенные приключения. Не испытав их, уехать отсюда невозможно, себе потом не простишь.

Этим утром, выйдя на еще прохладную мостовую, я почувствовала: приключение случится сейчас. Сейчас или никогда!

Остановилось такси. Шофер белокур, синеглаз, но лицо смуглое, узкое.

– Баск?

В ответ послышались певуче гортанные:

– Я! Си! Да! Уи!

Я поняла, что шофер говорит на всех языках мира и на всех одинаково плохо.

– Как тебя зовут?

– Климентино.

– Климентино – это прекрасно! На родине у меня был один знакомый мафиози, его звали Климент Ефремович.

– А любимую святую моей мамы зовут Маргарита.

Так мы породнились. Понимая, что приключение стоит денег, я высыпала на сидение машины почти все содержимое своего кошелька.

– Климентино, вези, куда хочешь.

– Тринкен?

– Да.

– Поедем к моей фермине.

Я поняла, к сестре. Климентино прибавил скорость и начал говорить. Речь его состояла из сплошных восклицаний, междометий и присвистов.

На особенно крутых виражах он бросал руль и помогал себе руками. Я ничего не поняла, кроме того, что приключение может стоить не только денег, но и жизни.

Изрядно пропетляв по горным дорогам, подъехали к полуразрушенному дому. В дверях стояла высокая, полная женщина, на сестру Климентино она была мало похожа. Не спасало даже черное, по каталонской моде, платье и множество украшений из дешевого золота.

Русская...

– Как Вы узнали? Из Севастополя.

Подумалось, какой-нибудь одесский флибустьер увез ее сюда и бросил в горах.

Огляделась. В доме не прибрано, на смятой постели – бутылка вина, по стенам – веера, засиженные мухами. Несмотря на убогость обстановки, женщина усвоила уверенность и достоинство настоящей каталонки. Высокий класс! Прогодал флибустьеришко, дурачком, наверно, был!

Фермина принесла кувшин вина, включила музыку. Слегка откинувшись назад, вытянув вперед тонкую руку, Климентино принялся танцевать фламенко. Он встряхивал головой, волосы отливали тусклым золотом. От этого танца, духоты и жужжания мух у меня кружилась голова. Фермина точно выбрала момент и, перемигнувшись с Климентино, принесла связку золотых цепочек:

– Синьоре очень повезло, цепочки продаются очень дешево, просто даром!

Я спросила, как я узнаю, что это золото, ведь пробы нет.

Климентино обещал достать шайн с настоящей печатью. Раз печать будет настоящая, я обещала подумать.

Потом пропал мой шарфик. Сначала я огорчилась, нечем прикрыть голову на пляже. Быстро успокоилась: приключение должно стоить денег. Синие глаза Климентино неотрывно следили за мной. Он видел, что я огорчилась, потом успокоилась. Поднял большой палец:

– Молодец, синьора, так держать!

От стены отделился замшелый мужичишка. Вид разбойника с бастионов Севильи. Я боялась спросить имя. Если скажет: Лилиспастья, упаду в обморок.

Бастионе из засаленного мешочка высыпал на стол несколько золотых монет. Подделка обнаруживалась сразу, но была высокого качества. Все потертости и вмятины на месте. Едва заметен профиль рыцаря с поднятым забралом. Фермина вытащила одну из монет и зажала в кулаке. Опять перемигнулась с Климентино. Очевидно, на эту монету делалась ставка. Я попросила монету и взглянула на нее повнимательней. Если бы монета была настоящая, то стоила бы тысячи три марок, но и поддельная стоит недешево, над штампом недели три просидишь, не говоря о подборке металла и выборе сюжета. Бастионе оценил монету примерно в такую же сумму.

– Спасибо. Очень жалко. Но у меня нет денег.

Фермина заверещала:

– Синьора должна подумать, это очень редкая монета, ничуть не фальшивая. Синьора может справиться в Барселоне, в любом музее. Синьора может взять монету, только оставить залог. Сто марок.

– Но у меня только 15.

Все удалились на совещание. Я ждала минут тридцать. Потом еще немного поторговались. В результате, монету, которая стоила три тысячи марок, я купила за семь.

Домой отвозил Климентино. Приглашал приехать в Канет зимой. Обещал достать, сколько хочешь, настоящих старинных монет. Я сказала, что с меня хватит. Он опять все понял, сказал, что я “гуте альте синьора”. На прощание мы обнялись, я просила передать привет своей теще – святой Маргарите, а он – моим берлинским друзьям.

ПОФИГУШНИКИ

Для справок; пофигушниками или пофигистами называют людей, которым “все по фигу”, т. е. “до лампочки”, т. е. “гори белым пламенем”. На иностранные языки эти слова не переводятся

Галя Крашенинникова происходила из старинного купеческого рода, была кустодиевской красавицей, игривой и кокетливой. Несмотря на это, замуж в институте она не вышла. Вернулась в родной город. Поселилась в старом родительском доме с мансардой, стала работать в областной больнице.

Мансарду Галя сдавала. Молодым стажирующимся врачам, как правило, бабникам, кутилам и пофигушникам. Про отношения Гали с квартирантами ходили разные слухи, но точно никто ничего не знал.

Кроме Гали и ее жильцов жили в доме старый попугай по кличке Федька и тетя Фрося по прозвищу Прося. Такие живут почти в каждом доме. С раннего утра начинают обход соседей, выпрашивая “грудочку кашки и трюшки колбаски”. Хотя и кашка, и колбаска им на фиг не нужны – просто это повод рассказать, что было вчера в квартире № 12 или 13, а то и узнать что-нибудь новенькое.

Перед самой войной в мансарде поселился очередной стажер.

Когда в город вошли немцы, евреям разослали повестки – явиться на контрольный пункт для регистрации. Доктор не пошел. Война к концу года все равно закончится, – уверял он. Да и в городе, что он еврей никто не знает, фамилия у него украинская, и вообще ему надо в ординатуру готовиться.

Галя заперла доктора в мансарде. Выходить разрешила только по ночам. Чтобы было веселей, доктор взял с собой попугая и начал его обучать. Из множества русских, украинских, еврейских и латинских слов попугай упрямо усваивал только те, что не для дам.

Сначала все было спокойно. Казалось, про доктора забыли. Но однажды на рассвете в дверь постучали. Высокий полицейский заинтересовался, одна ли Галя живет. “Конечно, одна”, – стараясь выглядеть как можно более естественно, ответила она. Но полицейский решил убедиться в этом сам. Оттеснив Галя, он прошел в комнату. Галя похолодела. “Фроська настучала!” Постель была разобрана, на ней лежали две смятые подушки. Полицейский двинулся к мансарде. Дверь оказалось запертой. Он надавил на нее, но тут за его спиной

кто-то резко произнес: “Прохвост, дай каши!” Полицай обернулся. Прямо перед ним был попугай. Он смотрел на него приветливо – привык, что галины друзья его прикармливают. Но смекнув, что этот за два слова ничего не даст, Федя решил выдать ему по полной программе. Полицай узнал про себя, что он шляется по бабам, узнал, что именно он с ними делает, и что Федя будет делать с полицаевой мамой. Полицая было предложено клюнуть Галю в зад и поцеловать галин тухас. Затем Федя сообщил, что он – хороший! И Галя – хорошая – всем дает! Потом Федя обозвал полицая собачьим дерьмом и сказал то, что обычно говорил Фросе: “Топай отсюда, старая б...” Потом опять попросил каши. После таких монологов Феде еще ни разу не отказывали.

Ни один мускул не дрогнул на лице полицая. Он повернулся и вышел вон. Попугая явно обучал мужчина, – понял он. Но если он еврей, зачем ему на рожон лезть, зачем учить птицу такому. И про Галю зря народ трепет. Да и зачем Крашенинниковой еврей, у нее в больнице мужиков – пруд пруди. Правильно попугай говорит : “В гробу я видал этого еврея!” – В глубине души полицай тоже был пофигушником.

Алла Киселева

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Я не умею писать писем. Может, и вообще писать не умею... Просто удачно заморочила голову окружающим, а они мне. Злое волшебство, которое обернулось против колдуньи... Зло вообще всегда возвращается... Добро тоже... но не так стремительно, не так неотвратно, и от того его возвращение порой проходит незаметно...

Что написать тебе? Не знаю. Может, про пустоту, которая причина всему... Тихая, белая, пахнувшая лекарствами, больничная пустота. Я гоню ее... голосами из телевизора. Но она не уходит, не уступает им места. Голоса остаются в телевизоре, а она растворяется в комнате и, того гляди, схватит меня и не отпустит. Пустота – всемогущая ведьма. Я боюсь ее. Одной всегда страшно. Вот я и пишу тебе письмо, хотя знаю, что писем писать не умею. Собственно и не тебе, а ей, этой пустоте... пусть знает, что я не одна, пусть хоть чуточку испугается, что есть у меня кто-то... найдет на нее, может быть, управу.

Итак, привет, мой... Мой? Чепуха, но, уж если играть с пустотой, то непременно «мой». Мой единственный, всепонимающий друг! Не пугайся, это только игра. Для пустоты. Она зритель сегодня. А я не в больнице, я на сцене. Я произношу длинный монолог, к тебе, такой длинный, чтобы успеть забыть про пустоту. Привет – наше обычное по телефону. Я позвоню тебе, не напишу. Писем писать не умею. Позвоню и мы поболтаем ... ни о чем. Поболтаем, как всегда... И не станет этой страшной комнаты с белыми стенами и тусклым светом. Ложь! Стены не белые, кремовые, и свет не тусклый. Мне только кажется, что он должен быть тусклым. Я знаю, что когда-нибудь расскажу тебе, что он был тусклым, и тогда сама в это поверю и забуду, как было в самом деле. А ты так и не узнаешь, как было... ни со светом, ни вообще. Итак, привет – звоню я тебе... Звоню от страха... А может от скуки... А может от неизвестности... Я боюсь неизвестности. Не то чтобы я была трусихой: я не боюсь многих конкретных вещей... Но неизвестность – это когда они все вместе приходят ко мне... черные, маленькие, колченогие человечки, вприпрыжку, вприхрамку... по полю, по высокой, почти скрывающей их траве... Строем прут на меня, топ-топ-топ, прут, прут и хихикают... Нет, нет, не бойся! Я не схожу с ума. Просто вчера заснуть не могла и пошла бродить по коридору. Да вот не положено, здесь, оказывается, тоже. Меня тут же вежливо, заботливо, но настоятельно водворили в мою пустую комнату, то есть в

комнату, где кровать для меня, а все остальное для пустоты. Водворили, сунули в рот таблетку, уложили, улыбнулись, ну, прямо как в детстве, и пообещали, что я скоро усну и буду видеть прекрасные сны, тоже как в детстве. Как в детстве и увидела... нечто сказочное... только уж больно жуткое... И ведь никак не проснуться, не закричать, не позвать маму... или тебя (не вздрагивай, это из монолога). А может, и нет. Хотя почему бы и нет? Как ведь просто набрать твой номер. Не сложнее, чем чей-нибудь еще. В нем есть семерка, цифра счастья, только моего ли? Нет, — если позвонить, сказка рискует обратиться в обман. Это уже будет словно из романа, а романы так похожи на правду... пока разберешься, поверишь! Потом закроешь книжку... и нет ничего... А ведь ничего и не было! Только верить уже не хочешь, что действительно н и ч е г о...

Поэтому все будет не так — я наберу семерку. Сейчас не наберу. Уж как-нибудь справлюсь. Я даже знаю, как. Опять навру. Всем навру, что была не в больнице... а на море. Может, в Греции, может, на Канарских островах, может, в Майями... Нет, это уж слишком... Наша творческая интеллигенция до этого еще не дошла. Так что не стоит дразнить гусей! Отправлюсь на Майорку. Теплое море, прямо как в детстве, в Сухуми, папа работает на научно-исследовательской станции, мама скрывается на кухне от обжигающего солнца и назойливых ухажеров (то ли абхазцев, то ли грузин, тогда никто не разбирал, тогда была дружба народов). А я скрываюсь от мамы, ее уговоров непременно что-нибудь съесть... Есть не хочется абсолютно. И сейчас не хочется. А скоро надо будет... Я знаю, что бы я не съела, через полчаса придется бежать в туалет... и все это вырвется наружу через удушающие спазмы в горле. И зачем тогда есть? Самое смешное, что, оказывается, это нормально... при этом курсе. Врачи так воюют с чем-то неизвестным внутри меня... Хотя при чем тут врачи? Я просто не хочу есть, как тогда в детстве, у моря. И сейчас у моря. И жара... А когда жара, есть не хочется. И иногда, если перегреешься на солнце, немного подташнивает... Я лежу на солнце... Как странно, «на солнце»... Ладно, я лежу на песке... Интересно, а там, где я, песок? Или камни? В Сухуми были камни и под ними в море рыбки-присоски. А в Болгарии — песок. Пусть и здесь будет... Белый, тутошный, а не наш темный. Темный — из детства. Не могу же я сейчас поехать в детство! Самое большее, куда могу, — на Майорку... Так пусть будет Майорка.

Ты тоже поверил?.. Я пишу сказку... Очередную, грустную. О принцессе, которая все видела в розовом, вернее, голубом, а может, сиреневом, короче, радужном свете. Мир для нее был всегда таким прекрасным, как для других людей только в короткие мгновения после дождя, когда всходила радуга. Так ее заколдовали в детстве. Порой от этой ее заколдованности страдали люди... но это были всего лишь придворные... не страшно. Хотя среди них встречались и неплохие люди, и почему-то именно они чаще всего страдали. Но принцесса не могла ничего изменить, так было ей положено в ее сказке. Когда она выросла, по сказочным правилам должен был появиться принц, которому предстояло расколдовать принцессу... Но в этой грустной сказке принц был не

один. Их было много. Вообще-то не так уж много, скорее, несколько. Много – это преувеличение, сказочное, литературное. Все принцы были ничего, только словно не из той сказки, они отказывались видеть постоянную радугу на небе. Они упорно старались перетащить ее в свой мир, в свои сказки. А там были войны, походы, зимняя стужа, и главное, враги и предатели, ведь это были мужские рыцарские сказки. Они не нравились принцессе, но она в них заблудилась, потерялась. Она все никак не могла отыскать дорогу в свою сказку. Хотя бы ненадолго. Не на жизнь. Ведь сказка – она короткая. На вечер, если бабушка читает медленно, запинаясь, протирая слезящиеся глаза. Или на час, если за дело берется папа... после работы... перед сном. Или вовсе на полчаса, если на пластинке или на экране... и его – принца, нужного, из твоей сказки, – кто-нибудь играет. Не хочешь попробовать? Набрать мне волшебную семерку? Поищем вместе дорогу в сказку – из комнаты, где живет пустота.

Зачем? К чему новые войны, враги и предатели? А выход из комнаты, откуда не видно радуги, я уже нашла. Я уже на Майорке. Загар?! Не проблема. Есть солярий. Кстати, загар мне идет. Я всегда теперь буду ходить в солярий. Назло зиме и холодам. Назло врачам и болезням. Назло себе самой, потому что на самом деле я совсем не хочу туда ходить. И потому что смешно быть темнокожей, когда все вокруг кутают бледные руки в свитера... Но у меня все всегда не как у людей. Ведь они живут, а я пишу сказку. Или вернее разные сказки, всякий раз, как начинаю верить, что смогу уйти от пустоты, набрав чей-нибудь номер, пусть и без волшебной семерки.

Так что все будет хорошо. Ты только подожди, не приходи пока ко мне, я еще не загорела... Я лежу на кремовом песке... Тепло... Почти жарко... Батарея пытит... старается... греет за солнце... Я смотрю на лампочку на потолке, глаза начинают слезиться, словно от солнечного света... Я закрываю их, не хочу видеть солнца... и батареи... и телефонной трубки. Она лежит спокойно и неподвижно, подставив солнцу белую спину. Еще не загорела, даже светлее меня. Лежит и молчит... Может, перевернуть ее, чтоб не обгорела... У-у-у! – недовольно ворчит она. Ладно, лежи... Или... Тебя же все равно наверняка нет, как всегда, голос на автоответчике... Всего семь цифр... семь!.. Может, повезет, застану тебя и начнется игра с пустотой. Ты приедешь забрать меня... мы сделаем вид, что с Майорки... И я расскажу тебе про мягкий песок и бирюзовое море... Я видела, оно бирюзовое... Синих только два... Черное из нашего детства и Красное – из нашей мечты, нет, из нашего следующего путешествия... Мы обязательно поедем туда этим летом вместе... Алло – Какой незнакомый у нее голос?! Наверно, я перепутала номер – давно не звонила тебе... Нет, снова он, этот чужой голос... Что она там делает?.. Обед готовит... сидит у телевизора... с коктейлем в руке... интересно, что она думает по поводу моего молчания... Скорее всего, что это ты не можешь дозвониться... Обо мне она ведь не знает... Да, долго не кладет трубку, и голос звенит взволнованным ожиданием... А, в общем, у нее неплохой голос... Интересно, она блондинка?

Хотя, какая разница... Надо повесить трубку... вдруг ты, и вправду, захочешь позвонить... Ей.

Берлин, Шарите.

ЗАПАХИ

Лето. Июль. Я шестой год в Германии и шестой день в Лондоне. Маленькая книжная лавка на еврейской улочке. Одна из лавочек на одной из улочек, каких в Лондоне не мало. На северо-востоке Лондона – не мало. Маленькая, такая маленькая, что кажется, книги в ней едва помещаются.

Наталкиваясь то на продавца, то на покупателей, мы протискиваемся по узкому проходу между прилавками к книжному полкам. Мы – это рабби Глюк и я. Мы пришли купить мезузу для моих родителей... и попали в мир, о котором я столько читала, в мир книг, помнящих и хранящих память о странном народе, вечно гонимом, вечно рассеянном по свету, непонятном, необычном, неприкаянном...

Никогда не была я на такой улочке, разве что разочек, в старенькой квартирке на Бронной, застыла перед картиной Шагала и разговорилась с его летающим реббе, не припомню о чем, а потом снова – повстречалась с ним в маленьком городке под Тулой, хотя нет, не с ним, с его другом, братом, может, с кем-то вовсе не знакомым – откуда ему, шагаловскому, знать другого реббе, родом из чужого детства – детства моего свекра. А я знаю о них обоих, знаю по рассказам мужа, по картине в доме друзей, знаю по книгам. Наверное здесь на полках тоже есть книги, в которых о них написано. Наверняка, есть.

Реббе берет книгу, протягивает мне, а я стараюсь, чтобы он не заметил, украдкой смотрю на цену – 20 фунтов. Жуть, как дорого – 50 марок. Я долго молчу, разглядывая книгу, и реббе все понимает. Потом он долго говорит с продавцом, листает другие книги, наконец, забирает внушительный сверток и мы, попрощавшись, выходим из магазинчика. На улице сверток оказывается у меня в руках, да я уже и так поняла, что это подарок мне.

В гостинице я едва успеваю добежать до звящего телефона. Реббе спрашивает, все ли у меня в порядке. При расставании у меня был такой расстроенный вид. Да нет, вообще-то не расстроенный, просто в магазинчике я вдруг вспомнила другие, до отказа забытые книгами, полки. В нашей московской квартирке. Вспомнила зеленые, сиреневые, лиловые, желтые корешки подписных изданий. Вспомнила, как любила перебирать их, как постепенно теснили Бальзака и Фейхтвангера зеленый двухтомник Цветасвой, синий томик Ахматовой из «Библиотеки поэта», булгаковский «Мастер» – из валютной «Березки», выкляченные мною у моих друзей итальянцев.

Пастернак, Мандельштам, Набоков переехали на эти полки из ГДР, а теперь им, похоже, пора возвращаться в Берлин. Конечно, не в книжный на Унтер ден Линден, а ко мне домой. С любимыми не легко расставаться, с любимыми книгами – тоже. Рассказать все это реббе? Да он и сам все знает.

Знает, как я когда-то в детстве сижу на полу перед книжным шкафом, На свежевыкрашенном, покрытом лаком полу. Паркетном, московском, заваленном книгами из шкафа. Я не читаю их. Я еще не умею читать. Я просто рассматриваю картинки. И нюхаю. Книги пахнут. Пахнут картоном, клеем, бумагой, пылью. И еще чем-то из того, что в них написано. Или не написано, а придумано мною...

Эта книга пахнет кожей от переплета и лесом, солнцем, морем. Как я люблю море, и не ведаю, что на картинке в книге и не море вовсе, а венецианская лагуна. И вода в ней черная и гнилая. Но я этого пока не знаю, я жадно вдыхаю запах соленой воды. Пока у меня есть только книга. Старая. Бордовая, с картинками, т.е. гравюрами, но что это гравюры я тоже не знаю.

Я смотрю на них и вижу красивую женщину и придумываю ей имя. Что-то надо найти необычное. Как же звали тогда итальянок, живших у венецианской лагуны? Как же звали тогда женщин, таких женщин?

«Назови ее Изабеллой» – говорит мама. – «Изабелла – значит прекрасная.» Мама знает, что именно так ее и звали. Мама наклоняется ко мне, трогает рукой пол. Паркетный. Без тепиха. Холодный. «Сядь на подушку...» А на кухне что-то шипит на сковородке, мама уходит туда, и я остаюсь со своей Изабеллой. Она принцесса? – Конечно. А почему она стоит на какой-то бочке перед толпой неопрятных странных людей? Кто они, эти люди? Один с костью, другой – одноглазый. Наверное, разбойники. И что она можем им говорить, и как это получается, что они ее слушают?

Это старая, старая сказка. Про прекрасную Изабеллу, божественную Коломбину итальянской Комедии дель Арте. Говорят, ей было тринадцать, когда она сыграла эту роль впервые. Говорят, она родилась в соломе. Говорят также, что ее украли цыгане из знатного дома. Говорят, она играла в настоящих бриллиантах, подаренных ей богатым поклонником, а все думали, что это просто стекляшки. Говорят, она сочиняла стихи прямо на сцене, а все думали, что она просто вызубрила текст. Говорят, она плакала, как в жизни, настоящими слезами, а все думали, что она просто закапывает в глаза луковый сок. Говорят, ее слушали в мертвой тишине, но когда она, выдержав паузу после представления выходила на поклон, зал был уже полупуст – Карнавал, что поделаешь, в соседнем балагане сегодня бесплатное Chianti...

Говорят... Вернее, говорили. Теперь о ней почти забыли. Забыли, как она играла на Карнавале в Венеции, как влюбился в нее некий граф и даже предложил ей... А собственно, что мог предложить ей он? Позабыть гул толпы, шум аплодисментов, запах скромных фиалковых букетов? Позабыть, что у нее есть голос и редкий дар творить стихи прямо на сцене? Да не на сцене даже – на площади, на деревянных скрипящих подмостках прямо под открытым темно

синим итальянским небом. Золото, бриллианты взамен восторга толпы, величественные розы и гордые лилии вместо подвятых фиалок. И конец кочевой жизни.

Только говорят, она была настоящая сумасшедшая – бросила все это и назад в Венецию. И опять вой и аплодисменты, и опять гнилая вода! В Венеции всегда вода зимой гниет, и Карнавал тоже почему-то всегда зимой.

Говорят, не известно, где ее могила, говорят, слуги ревнивого графа закололи ее прямо после представления. Говорят, правда, и другое. Она дожила она до глубокой старости, и все выходила и выходила на сцену. И все сочиняла свои стихи.

А еще в Венеции любят показывать фамильный склеп одного знатного рода, где похоронена прекрасная женщина по имени Изабелла. Вот такая сказка. Грустная, взрослая. Вот такая книга, пахнущая детством.

Только детство кончается быстро... Я вырастаю, учусь, учу сама, читаю, и чуть-чуть пишу. Пишу рецензии для «Иностранки». Однажды, про какой-то странный прекрасный роман известного итальянского театрального критика. Про миланский театр Стрелера, про Витторио Гассмана, любимого мною по фильмам, но ни разу не виденного на сцене, про театр Пиранделло, про величайшего Гамлета Италии, про, бог весть еще каких знаменитостей!

Только я не очень-то много напишу про всех них в своей короткой статейке. Я напишу про нее, Изабеллу Адреини, мою Изабеллу. Я вообще напишу статью про тот роман только потому, что на страницах его промелькнет она, полузабытая королева итальянского народного театра, от которой осталось только имя. Стихов неблагодарная человеческая память не сохранила. Они не вышли отдельной книгой. Они существовали, пока существовала она. А сегодня, наверное, та бордовая книга из моего детства – это почти все, что от нее осталось.

Нет стихов, нет Изабеллы, а я пока есть. Я живу в Москве. Встречаю и провожаю любимых. Часто провожаю. Пока однажды не уезжаю сама. Не на долго, как казалось тогда. На совсем, как оказалось теперь. Вроде бы, на совсем.

И вот опять сижу на полу, только не в Москве, в Берлине, и некому подложить мне подушку, да и не надо, здесь Terrich, тепло. И еще здесь много чего хорошего. Только книг не много. Совсем не много, если откровенно, – вернувшийся в Германию трехтомник Набокова без кем-то зачитанного второго тома, булгаковский «Мастер», бордовая книга в кожаном переплете...

Я расставляю их по местам в моей новой, только что отремонтированной квартире, вдыхаю глубоко, как в детстве. Только они ничем не пахнут. Ни пылью, ни клеєм, ни бумагой, ни кожей, ни морем, ни даже гнилой водой. Все перебил запах свежих обоев, краски и тепиха.

А как же пах тогда паркетный пол ? Если честно, не помню!

ОКНО НА УЛИЦУ ГАРИБАЛЬДИ

«Здесь нужен ремонт и перестановка»,— вежливо, по-немецки сухо и делово констатировал Лутц, осмотрев мою московскую квартиру.

Хорошо, что констатировал не при мне, при маме, а то... Хотя, собственно, что бы я ему могла возразить, даже решишь я приехать наконец в свою Москву. Да в свою ли, после семи лет жизни здесь, в Германии?

«У тебя железные нервы, столько лет не видеть мать!»— бросил мне как-то в лицо один приятель. Я промолчала. К чему возражать? К чему объяснять получужому человеку свои страхи и сомнения? Неожиданный отъезд, казалось, временный в Берлин в девяностом. Так, посмотреть, прикупить подарков родным, тем же родителям, да еще любимой тетке. У нас с ней и размер одинаковый! Это уже потом будет улица Otto-Grottewohl, потом будет Neim и наконец отдельная квартира — у нас. Это уже потом будут танки в Москве и обстрел Белого дома — у них. Это уже потом будет единая Германия и куча республик в — гусином — (от немецкого GUS) государстве. И потом будет запрет выезжать на свою бывшую родину, и его отмена, и краткая встреча с папой в Париже, и ежегодные приглашения поехать в Сочи на «Кинотавр» и... страх... Страх, что не успею обернуться за пару недель отпуска, не смогу выехать по старому паспорту, не поставленному на учет в советском консульстве. А может, страх увидеть постаревшую, верно, обрюзгшую собаку Дашку, сильно поседевшую маму, ослепшего после операции на один глаз отца? Рассказать обо всем этом? Кому? Чужому мне человеку?

А в квартире моей московской, наверное, действительно нужен ремонт. Наверное, ему действительно не удобно, да и ни к чему въезжать в непонятную обстановку чужого давно минувшего детства — моего детства. Собственно, и мне уже в него не вернуться. Так что же беречь? Старые, не очень толстые, услужливо подслушивающие звуки соседской жизни стены хрущевки? Пестрые, по нынешним западно-немецким, да, пожалуй, и новорусским меркам некогда престижные, ГДР-овские обои, чуть ободренные в углу у кровати собакой Дашкой и так и незаклеенные второпях отъездных сборов?

Старые стены старенькой московской квартирки. «Я никогда отсюда не уеду»,— сказала я лет в двенадцать, сказала бессознательно, интуитивно чувствуя, как уходит детство, а с ним люди — подружка в доме напротив переезжает в новый район, бабушка умирает, одноклассники взрослеют и незаметно исчезают в неизвестности. Не хочется уходить из детства. Надоело расставаться с друзьями, с папой, который все чаще и чаще пропадает где-то в невиданных странах с ранее неслышанными названиями, где много солнца и

много жвачки и много того, чего здесь нет, никогда не было, и не скоро будет, а когда будет, я этого не увижу, т. е. увижу но уже не здесь – там, а в Берлине.

Лутц хочет передвинуть мебель. Какую, интересно? Шкаф с книгами? А, верно, к чему ему Фейхтвангер на русском, или Шиллер, или Гете, а тем более Белль. Сколько раз я перемещала их с полки на полку, не в состоянии осилить пару страниц и довольствуясь маминими пересказами. И сколько же лет еще я буду помнить не только те прочитанные позже странички, но и те мамыны пересказы?

Сколько лет еще мы будем не понимать и прощать друг друга? Сколько лет будем ссориться из-за таких пустяков, как пригрезившаяся мне первая любовь, как букет роз с Черемушкинского рынка от того, кто казался единственным и настоящим?

Что-то он делает теперь в своей Калифорнии? Дарит ли розы кому-нибудь? Верно, теперь отправляет посылного с букетом? Теперь у него вместо студенческой стипендии профессорское жалование. Только если бы я сейчас получила букет роз, настоящих американских, холеных, с посылным, вряд ли бы я поссорилась с мамой, вряд ли бы припомнила истертое, вечно притягательное словечко «любовь». Вряд ли бы помчалась за ним на неведомый археологический раскоп в Новгород. Вряд ли бы увидела, забравшись вместе с ним по реставрационным лесам по самый церковный купол, полные скорби, покрытые копотью веков глаза грековских святых.

Разнесло, разметало нас по свету. Интересно, как у них там в Калифорнии со снегом? У нас в Берлине, если не считать последнюю зиму, плоховато. Я уже забыла, как хрустит он под теплыми сапогами на меху, и что сапоги могут быть на меху – забыла. А старые обои и окно и разноцветные обложки книг – помню. Странное дело, человеческая память.

Я помню окно, у которого стоят книги. Нет, которое закрывают книги! Ты их хочешь отодвинуть, Лутц? Ты ведь, наверное, даже не подозреваешь, что там окно. Окно на улицу Гарибальди. Окно, смотрящее на маленький сквер, по которому теперь бегают бездомные исхудавшие собачонки, и овощной магазин, который теперь, как рассказывают, стал валютным ликеро-водочным, а когда-то в нем мама выстаивала очереди за баклажанами, болгарскими, тоже импортными.

Интересно, ходят ли еще 113 и 103 автобусы до Университета? Хотя если я и приеду, то буду добираться туда все равно не на автобусе, а на машине, если вообще буду добираться. Окно на улицу Гарибальди, по которой ходили автобусы моей юности.

Боковое окно в ночь, нет, в вечер, в тот страшный вечер, когда мамы нет дома, и мы с папой стоим у окна и всматриваемся беспомощно в каждую женскую фигурку. Мама ошпарила руку и, не дожидаясь папиного возвращения с работы, даже не позвонив, чтобы не отвлекать от дел и зря не тревожить, уехала в травмапункт, думая успеть назад к 6 часам. Но не успела.

И мы смотрим в темноту. И ужас этого первого ожидания входит в меня, 10-летнюю, и живет по сей день, не покидает. С тех пор я настойчиво обязываю всех любимых, всех знакомых, всех случайных прохожих по моей жизни звонить мне при малейших изменениях планов, с тех пор я боюсь потерь и ожиданий, которые могут стать их предвестниками.

А ты, Лутц, отодвигай книги, освобождай окно. Тебе-то что? У тебя было свое детство со своими страхами и потерями. Передвигай мебель – круши мир и без того разрушенный до тебя. Только маму жалко. Для нее ведь это было не детство, а жизнь. И что осталось? Квартира, которую можно сдать за 300 долларов в месяц, а на них подкормить вкусеньким собаку Дашку, брошенную нами на ее попечение при переезде на землю не совсем обетованную. Но и это не плохо в наш материалистический век. А если не о материальном?...

Позавчера из Москвы приехал мой приятель, передававший родителям посылку. «А вы похожи с мамой. А уж голос ... Я сначала даже испугался, когда она сняла трубку. Думал, совсем спятил, набрал твой номер, в Берлин звоню.»

Странная, шальная, мысль мелькает у меня в голове при этих словах. А может мама говорит не только с папой, собакой и парой знакомых? Во мне живут не только ее книжные пересказы, но и голос. Голос, которым я наговариваю в студии берлинского радио свои передачи. Так может мы уже давно переехали сюда всей семьей?

Так что, Лутц, переставляй мебель! Не страшно!

Лев Миндлин

СКЛЕРОЗ

Удивительно... надо же... – бормотал я себе под нос. Телевизор орал, на экране металась фигуры в пятнистых комбинезонах, стреляли, из уст американцев потоком неслась лающая немецкая речь. Чужой язык, который я таким образом изучал, сейчас показался не только непростительно сложным, но и совершенно уже отвратительным, раздражал, мешал думать. Я встал, выключил давно надоевший ящик.

Да, так что же произошло? И чего это я с час, как дома, а все никак не могу придти в себя? Подумаешь, обыкновенная встреча... За семь лет, что я здесь, в Берлине, их были тысячи, если не больше. Я человек общительный, не чураюсь новых знакомств. Могу и сам подойти, хоть на улице, как слышу русскую речь. Немолод, да, но люди мне до сих пор интересны, особенно земляки. К тому же, играют еще во мне остатки профессионального любопытства. Так что же?... Я снова уселся в кресло. Надо вспомнить. Подробно, очень подробно.

Итак, я стою на Кантштрассе, угол... Тьфу ты, черт, забыл! Эти немецкие названия моментально вылетают из головы. – ...Фазаниен... Рядом еще еврейский народный дом. Так, хорошо. Мимо идет человек, “невысокого роста, красивый и смелый...” Возраст средний: волосы – сильная проседь, худое изможденное лицо, морщины на лбу и на небритых щеках. В светлом плащике и грязноватых ботинках, с двумя пакетами “Альди” в руках... Сразу видно, что наш. Но, не местный, приезжий.

– Здравствуйте, – говорю я и приветливо улыбаюсь, – гутен таг, по-немецки! – Он останавливается. Недоверчиво вглядывается, думает, может, знакомый... Но, нет... вроде нет. У него нет здесь знакомых.

– Гутен таг, – отвечает с хорошим рязанским акцентом, – или здравствуйте, это по-русски. – Тоже улыбается. Замечаю: зубы плохие, темные, в дырках.

– Извините меня, ради Бога, – начинаю я, – может, спешите, а я вас задерживаю? В таком разе еще раз...

– Нет, нет, что вы, я не спешу, до автобуса море времени. – В глазах у него появляется интерес: что-то я ему скажу.

– Вы знаете, живу я здесь. Это как в том анекдоте. И не то, чтобы ностальгия замучила... А вот, как увижу родное лицо, так и тянет поговорить, расспросить... Не обижайтесь, вы откуда?.. – Мягко беру его под руку.

Он уже проникся доверием, уже малость меня жалеет. Что, мол, вот, человек оторвался от родины, и, наверное, не очень-то ему от этого хорошо, раз дошел, людей на улице останавливает.

– Из Тамбова я, из края волков и замечательно вкусной картошки. Бывали?

– В Тамбове я не бывал, – отвечаю чистосердечно, – хотя премного о нем слышан. В основном, от живущего здесь же, в Потсдаме, нового своего друга, бывшего тамбовчанина, и его дочки. Вспоминают восторженно и взахлеб. Однако, картошку на рынках в Москве покупал регулярно, ел с большим аппетитом и в любом виде, от жареной до пареной. Правда и то, что всегда знал и правильно отвечал на вопрос: кому есть товарищ тамбовский волк? Всегда так выходило, что личному моему ненавистному вражине. – Мы посмеялись.

Так. Тут я предложил ему прогуляться, и он согласился.

Мы медленно шли по Кантштрассе в сторону Вильмерсдорфа. Там, на этой... – как ее?... ох, ты, Господи, прости! – Песталоцциштрассе, русский продовольственный магазин, куда я, в общем-то, и направлялся, намереваясь побаловать дочь свою со внучатами квашеной по-русски капустой, солеными огурцами и милой, родного запаха копченой колбаской. На Савини-плац уселись передохнуть.

Осень в Берлине – замечательная пора. Ноябрь. В Москве давно снег, холодрыга и серость, ни одного живого листочка. Здесь же тепло. Солнышко, не спеша, ныряет в облака. Выныривает, греет, ярко освещает последнее буйство берлинской природы. Приятное глазу смешение всех цветов и оттенков, доминирует желтый. Но красный с зеленым не отстают, сохраняют нужную гамму. Вся земля в палых листьях, а и деревья не голые стоят. Накрытые плотным разноцветным шатром, только кое-где высунется сухая ветка или покажется вдруг прогалина, замысловатая древесная плешь, вся в жилистых узлах и переплетениях.

Он залюбовался резным узором какого-то листика. Я наблюдал: лицо стало мягче, как бы даже моложе, расправились морщины на лбу. Потом сладко зевнул, потянулся и сказал:

– А мне Берлин нравится. – Он попал в точку, я сходу сел на своего конька. Начал рассказывать, как люблю этот город, как быстро все в нем стало моим. Как практически полностью уничтоженный в войну, он возродился на пепелище. Какой он весь разный, и как много в нем других городов. Какой зеленый: половина – леса и парки. Сколько воды кругом – сплошные реки, озера. Немцы – спокойный народ, в основном, непьющий. А воду мутят, в основном, иностранцы, такие, как мы...

– Да, я хотел бы здесь жить, – сказал он мечтательно. – Но, не попасть. Не еврей. – Он сплюнул.

– Я тоже, – зачем-то соврал я. – Приехал вот к дочке на старости лет, нанять внуков. – Я как бы оправдывался, мне вдруг стало его очень жалко. Всегда так со мной, если даже просто покажется, что кому-то хуже, чем мне. Презираю это дурацкое качество своей натуры. Не еврей ты – так не еврей. – Я здесь при чем?... – Пошли? – я встал со скамейки, показывая пример. Он тут же поднялся, отряхнул зад, взял свои “тютю”.

– Вы знаете, первый раз я на Западе, – рассказывал по дороге. – Сижу безвылазно в своем Тамбове, монтеру, зарабатываю даже неплохо, по нашим-то временам. Все вокруг “новые русские”, многие, знаете, благоустраиваются. Работы навалом. Квартиры хорошие, дачи-шмачи... Все делать надо. Платят, не скупятся. Бригада наша – четыре человека – на объекте непьющая, люди основательные. Как впряжемся, так по четырнадцать часов, без, считай, передыху пашем. Хозяева довольны, передают нас с рук на руки. Никто не нагличает, и “крыши” нам никакой не надо. Остаются деньги. Моя жена, к примеру, при норковой шубе, при всех, считай “прибамбасах”, что у других; сын в Москве, в университете, на адвоката учится. Дорого, сволочи, берут... Но, ладно. Дочь гимназию, самую, говорят, престижную в городе, заканчивает. Тоже дерут. В доме все есть: и мебели, и аппараты импортные, и обстановка другая разная. Машина у меня, “Вольво”, предпоследней модели... – Я смотрел на него. Господи, как же я в нем ошибался! Живет раз в двадцать лучше меня, еще, похоже, недоволен.

– ... Все, вроде бы, хорошо. Но недоволен я всем этим, недоволен, – как бы подтверждая, печально говорил он. – Душа стонет и ищет чего-то. Сплю плохо. Все кажется, не то, не так, и не по совести. К батюшке недавно пошел. Чтобы прояснил мне, чего же мне не хватает. Почему мятется душа и маятся, не находит покою.... Вот, стервец! – тут он звонко рассмеялся. – Говорит: молись, чтобы не было хуже. Молись, говорит, чтобы осталось и не отняли. – Что, душу, что ли, отымут? – говорю. А он: тьфу, дурак, душа при тебе останется. Про имущество я и благосостояние. Видать, начитался поп про мафию, сбрендил... – Я внимательно слушал, недоумевал, как тот поп: и что человеку надо? Когда все уже есть...

– Вот, раньше, в молодости моей, – продолжал он свои излияния, – было все по-другому. Горел ведь... Горел, не сгорая! Идеи – фонтаном, все для людей. Переустройство общества, срочно... Нравственное обновление, моральная чистота... Кант с Шопенгауэром на пару, и “Город Солнца”, утописты, символисты и иже с ними... Поэзия будущего... Рывок и прорыв, попробуй останови!.. – он перевел дыхание.

– Ого, парень, – я подумал, – а ты не прост! Надо же... Тамбов... – Очень интересно, – это я уже вслух, – нельзя ли подробнее... Видите ли я сам прошел через это. Сам горел...

Мы стояли тогда на перекрестке... – Нет, склероз, склероз! Придется-таки совсем, навсегда, отказаться от пива. Пиво – моя слабость, если не сказать страсть. Это одна из немногочисленных ниточек, связывающих меня с народом-аборигеном. Помимо культуры и контекста развития европейской цивилизации. По прибытии в Германию с первых же дней присосался к источнику живительной, что называется, влаги, всерьез и надолго. Перепробовал сотни сортов, от самых дешевых до дорогих, и остался чрезвычайно доволен. Когда мне сказали, что этих самых сортов – и не шутили – десятки тысяч, не упал духом, но умножил усилия. Усердно ходил по

пивным, общался с народом. Несмотря на практическое отсутствие языка, немцы меня понимали, хлопали по плечу и одобрительно цокали языками, глядя, как я одним духом выпиваю полную кружку. – “Гут, говорили мне “пенеры”, дас ист зер гут. Пробирст ду нох вас?..” Партия любителей пива в России приобрела бы в моем лице поистине незаменимого руководителя, если бы... Если бы перестала быть политической. Политику я ненавижу.

Короче, на этом перекрестке, чуть в глубине, находился один из посещаемых мною “гаштетов”. Немножко поколебавшись – я не особо поверил в финансовые возможности моего собеседника, – предложил ему зайти ненадолго. Добавил – хоть и противно, а приходится – не Ротшильд: на немецкий счет. Лицо его неожиданно просияло.

– Ох, люблю пиво, страсть. Угощаю. – Я замахал руками: дескать, нет, нет, не привык. Дескать, плачу за себя...

– Никаких разговоров, – отвечал он, уже открывая двери. – Во-первых, я вам благодарен, а во-вторых, деньги для меня – не вопрос. – За что он там благодарен, не пояснил.

Ладно. Сидим в “гаштете”, пьем “Варштайнер”. Хорошее пиво, одно из моих любимых. Оказалось, мастер, разбирается. Пьет мелкими глоточками, шевелит во рту языком, и глазки от удовольствия прикрывает.

– Так что же там, в юности? – напоминаю я.

– Не в юности, а в молодости, – поправляет. – Детства и юности не помню. Болезнь, что-ли была какая... Как отрезало.

– А родителей ваших помните?

– Родителей тоже не помню. – Хмурится, видно, не нравится. Да и кому такое понравится? – Странно все как-то. Ведь родился на свет, ну, не Божьим же Духом?.. – От папы и мамы. А вроде, как не было их. Где они, что они?.. Потом, должен же был в детский садик ходить, в школу... – Не-а! Помню себя, начиная с девятнадцати. День рождения мой, вино и цветы. Друзья, и Стеллка, подруга. Любовь. Мы расстались потом, через годик. А я – студент Политехнического, второй курс, только сдал сессию... Странно, да?.. – Да, странновато. Или, скорее, необычно. Тем более, интересно послушать. Он заказал еще пару кружек.

– В институте шел, поверите, на одни пятерки. Все удавалось, как в сказке. Завидовали, конечно. Девчонки влюблялись, извините, сами на хер лезли. Но, пока я со Стеллкой – ни-ни... ничего такого. В комсомоле активно участвовал: стройотряды организовывал, боевые дружины, вечера самодетельности, и прочее. Шефство, там, над пионерами, встречи с космонавтами... Многое. Помню, на вечере поэзии, – он ухмыльнулся, – посвященном Светлову, во вступительном слове объяснил собравшимся комсомольцам, что хоть поэт, дескать, и еврей, но, чтоб не думали, наш, советский и правильный. Получил от партсека потом нахлобучку: дескать, не акцентируй, правильно понимай политику партии в национальном вопросе. – А многие и не знали... Да...

Мы пили уже по четвертой кружке, заедали креветками, по-немецки “краббен”.

Между крабами и креветками дистанция огромного размера. Во, язык!.. До сих пор поражаюсь: половина русского – немецкие слова. А понятия разные... Как это?.. Или – вот, сушая правда: то, что для русского кайф, для немца – смерть. Это кроме пива. Ведь подумать только – а все люди! В голову вступал привычный хмель, на душе становилось тепло и весело. Мой визави тоже развеселился.

– Ты знаешь, – он неожиданно перешел на “ты”, – покружило меня по Союзу. Где только ни был – везде. И на Севере был, и на Юге, на Востоке и Западе – кругом один смех. Тупой, тупой мы народ! Обдурить – делать нечего! Евреи дурют, и я дурил... С их помощью. Ох, вспомнить... В Казахстане баев ихних вокруг пальца водил, стадами ихними торговал. В Сибири казачками помыкал, сами дочек своих ко мне в баньку водили... В больших начальничках был, секретарствовал... На Западной Украине, помню, погром устроил. Всех пбили тогда, из дому повыгоняли. Хотели за моих взяться. – Не дал! Во – кукиш! Без своего еврея – не жить! Всем известно... – Он поперхнулся, надолго закашлялся. Я глядел в его ставшее малиново-красным лицо, на нижней губе повисла какая-то шелуха. – Ох, ты, антисемит, тогда еще подумал я. – А не пойти-ка ли мне отсюда, да побыстрее...

Да, так подумал. И одновременно еще возникла мысль... Мысль... мысль... мысль... Нет, не вспомню. Дальше...

Дальше мы пили пиво (он с водкой, нахально достал из пакета бутылку и, воровато оглядываясь – знал, что нельзя – подливал себе в кружку, ершил, а я отказался), и он совсем разошелся. На Северной Двине, оказалось, бандитствовал, в Крыму жил с двумя мужиками, в Якутии изнасиловал двухлетнюю девочку... – Боже ты мой, мне все это почему-то знакомо. Знакомо... знакомо... знакомо... И лицо его мне знакомо. – Я сидел весь размякший. Мой любимый “Варштайнер” казался горьким. Я ненавидел себя за то, что пожиловат, и вот, нет сил подняться. И нет сил все это слушать. И не могу оторваться...

Я уверен, я его знаю. Я знаю его, знаю... знаю... знаю... Как песню, которую выучил в детстве... Как дерево, на которое лазал в детстве... Как жену свою, которая, слава Богу, уже там, и ей хорошо...

– Как зовут вашу жену? – я грубо прервал его гнусные откровения.

– Сара, – ответил он, ничуть не обидевшись, – Любовь моя. Если бы не она, давно бы спился и помер. Любочка моя, солнышко мое... – Он достал из портмоне фотографию, лобызал, слюнявил, из пьяненьких глаз ручьем текли слезы.

– Я посмотрю? – я взял в руки фотку. Немолодое лицо, миндалевидные еврейские глаза, усики над верхней губой, настороженный взгляд. – И ее знаю. Я знаю обоих, точно. Только откуда, откуда?.. Шарил в памяти. Как черти выскакивали какие-то лица, обрывки пейзажей и снов, весь мусор,

накопившийся за долгие годы жизни. – Нет, ребята, вы от меня не уйдете! – сказал я себе. Когда-то я славился своим упорством в достижении цели.

А он продолжал трепаться. Краем уха я слушал что-то про Москву и Одессу, про КГБ и доносы, про тюрьму, лагеря и освобождение. Я изнасиловал память, я изорвал ее в клочья, но так ничего и не добился. Только появилось и резко усиливалось новое ощущение: что рассказ – наглый плагиат, все события в нем для меня не новость, я их чуть не сам пережил. В пивном тумане носились знакомые призраки, совершались знакомые действия. Если поднапрячься, я мог бы сказать, наверное, что будет дальше. – “Ложная память”, – черт ее подери, – подумал я тогда. Такое со мной бывало и раньше, я обращал внимание. Но, не в таком же объеме!..

Он был уже вдребезги пьян, молча качался на стуле и, склонив на бок голову, бессмысленно улыбался. В “гаштетте” громко играла немецкая фольклорная музыка, две пары пожилых немцев плясали, невысоко поднимали ноги и что-то выкрикивали. Четверо “пенеров” за соседним столом резались в карты на пиво.

Возле “дарта” сгрудились другие, азартно подбадривали еле стоящих на ногах игроков и гоготали при каждом промахе. Пьяная тетка, криво сидя на высоком табурете у барной стойки, поминутно проливала пиво себе на юбку и одновременно вела беседу с хозяином заведения. А тот, в десятый раз, от нечего делать, протирал тряпкой сверкающие под лампой пивные бокалы.

Время – десять вечера, пора уж домой. – “В кино мы не попали, билетов не достали... “Ничего, завтра достанем, чай, огурцы не кончатся... – бормотал я про себя, выволакивая налакавшегося приезжего на улицу, весь из себя расстроенный и недовольный. Расплачиваться пришлось самому. Я мог только надеяться, что на ночном холодке он оклемается и отдаст долг. Ведь в пивных все в четыре раза дороже. К счастью, так оно и произошло. Через пятнадцать минут лежания на сырой скамейке он начал дрожать, через двадцать открыл глаза и встал на ноги. Стоял, шатался, все пытался застегнуть плащ, матерился. Наконец, отчаявшись, запахнул полы, и тут заметил меня.

– О, вы здесь, – сказал он заплетающимся языком, дружелюбно. – Кажется, мы с вами встречались. Пили, и все такое... Я вам должен? – Я кивнул, назвал цифру. Он мгновенно умножил на два, чертыхаясь, рылся в кармане, достал кошелек, слюнявил, перебирал пачку купюр.

– Вот, – протянул бумажку. – А сдачи, как говорится, не надо. Тем более – это на мой протестующий жест – что выручили, а то бы сидел в гостинице. И пакеты спасли, я смотрю, – указывая на “тютю”. – Гостинцы домой привезу в целости и сохранности. Если еще на такси посадите, совсем хорошо будет. Я в “Ибисе” на ЦОБе живу, и автобус оттуда же отправляется... – Изъясняется вполне разумно, мне показалось, что от его, весьма плачевного еще пару минут назад, состояния не осталось и следа. Должно быть, привычка. И силен же, черт!..

Так. Я посадил его на такси, а сам поехал домой на “У-бане”, номер... номер... Да, ладно. Это все.

Все я вспомнил. Подробно. Ну и что? К чему же пришел? Я встал, заходил по комнате. Туда-сюда, туда-сюда, без остановки. Кулаки сжимались сами собой, хотелось плакать. Что-то очень важное прошло мимо. Причем из моего прошлого. Напоминание... Только о чем?.. Проклятый склероз!..

Я прошел на кухню, съел холодную котлету – спасибо дочке, подкармливает, запил бутылочкой пива. Немножко подуспокоился таким образом. Ложась спать, раздевался и рассуждал: ничего, ничего. Если что действительно важное, то напомним еще о себе; если так, пустячок, то и черт с ним; а если это чертовня за нос водит, то схожу в церковь, а то в синагогу. И отпустит. Что бы почитать такое на ночь, полегче? Чтобы развеяться и не думать, уснуть. Водил взглядом по полкам: Диккенс, Жюль Верн... Вот, это, так никому, оказалось, и не подошедшее приключенческое дерьмо... - С-стоп!.. Стоп!!! Я задрожал, схватил в руки книжку. Голова соображала на редкость четко. – Который час? – Начало четвертого. – Автобус в три, знаю. – Проходящий, всегда опаздывает, ни разу во-время в Берлин не пришел. – Так. – Такси. – Если повезет, усую.

Я вызвал такси, лихорадочно одевался. – Прикидывал: обойдусь без галстука – ночь на дворе; и без расчески – под шапкой не видно... Через три минуты сидел в машине, подгонял пакистанца-шофера: шнелль, битте, нох шнелле!..

Автобус стоял на стоянке. Водитель, в белой сорочке и черном галстуке – под запад работают ребята – бешено матерясь, засовывал в битком набитый багажный отсек последний чемодан. Большой массивный, он все время выскальзывал, а водила, пыхтя и напрягаясь, пытался прижать его дверцей. Я влез в автобус и стоял на передней площадке, искал глазами. Пассажиры все сидели уже на местах, не обращая на меня внимания, слушали ругань и весело гоготали. Хоть бы кто изъявил желание помочь!.. Мой собутыльник сидел в предпоследнем ряду. Прижавшись носом к стеклу – я еле его заметил – следил за неуклюжими действиями шофера, тоже хихикал.

– Алле, – крикнул я ему, – алле, вы... – Передние ряды замолчали, удивленно уставились на меня, задние не слышали, продолжали смеяться. Я пошел по проходу, наступал на чьи-то пакеты и сумки. Сразу со всех сторон зашипели: ты куда?.. да ты че, парень, охренел, что ли?.. – Парня нашли, мать их так! – Я упорно протискивался вперед. Быстро посадил связки, сипел: алле, алле... вы... алле... Тут послышался ласковый женский голос: милый, слышь, это ж автобус, чай, не телефонная будка... Новый взрыв хохота, и мой обернулся. Мы встретились глазами. В это время водитель – видимо, впихнул-таки чемодан – отдуваясь, поднимался в салон. – Товарищ, – увидев мою спину, заорал он, – товарищ, покажь билет... Мой привстал с места, выворачивал голову, тянул ко мне ухо, чтобы расслышать. Сосед возмущенно пихал его коленом. Я был уже почти рядом.

– Как тебя зовут? – задыхаясь, просипел я в сторону уха.

– Виталий, – ответил он. – А что? – Товарищ-щ..., оглушительно орал шофер.

– Ты на Тянь-Шане к буддистам ходил? – торопясь, быстрым свистящим шепотом спрашивал я. Плевать я хотел на шофера.

– Ходил. А что?.. Что случилось?.. – он смотрел на меня встревоженно.

– Девку твою в Туркмении Лейла звали? – продолжал напирать я.

– Лейла?.. Погодите... кажется, Лейла. Да, Лейла, точно. Откуда вы знаете? – у него сильно побелело лицо, глаза расширились.

– Жена – Сара Моисеевна Гольдбах; квартирная хозяйка твоя в Тамбове Настасья Петровна, ее собачка Жужка, а хахаль ее Тобик, – уверенно перечислял я.

Он только кивал головой.

– Все. Счастливого вам пути! – я заулыбался, глядя в его вытянувшуюся, испуганную сейчас физиономию. Что себе он там навоображал, представляю...

– Вот моя визитная карточка. Напишите, как добрались, и вообще, какие вопросы...

Я продирался назад, провожаемый сдержанным гулом человеческих голосов. Ничего не понимавшие люди тихо переговаривались, высказывались предположения. – Немецкий агент, бундесовский..., – услышал я слева по ходу. – КГБ или Моссад, одно из двух... Видали, какая носыра... – донеслось категорическое мнение справа. – А этого – затрапезного вида старикашка указывал большим пальцем назад, за спину – в Польше сымут, до Москвы не доедет... – Товарищ, задерживаете, давайте уже билет, – сердито выговаривал мне водила. – Где багаж? Все равно класть некуда, только с собой...

– Я не еду, – тихо сказал я ему на ухо. – А вы головой ответите, без всяких там шуток, если чего случится в дороге. – Отстранился, многозначительно, пристально посмотрел в напрягшееся лицо, и сошел.

Я шел прочь, еле сдерживал рвущийся на волю смех, знал, что в автобусе сейчас тишина, каждый соображает, чем происшествие грозит лично ему. Но вот, я слышу, автобус завелся, вот, медленно выезжает с “банхофа”. Уже через пол-часа, на берлинском кольце, половина народу будет храпеть, а вторая – тихо рассказывать байки под выпивку и дешевую походную закуску. Как-то там мой?..

Опять такси – д-да, потратился я сегодня! – и я дома. Книжка так и валяется на разобранной постели. Медленно, предвкушая редкое удовольствие, беру, и сажусь в кресло под лампу. Открываю. Самое начало романа.

“На свое девятнадцатилетие Виталий позвал, считай, всю свою группу. Были все, кроме двух парней из деревни. Сами отказались по причине темноты и вынужденной, вследствие этого, еженощной зубрежки. В Политехническом порядке строги: незачет – и “гуд бай”, враз отчислят, за милую душу.

Стеллка, в белом нарядном платье, с низким соблазнительным вырезом на груди, и в туфлях на высоченном каблукке – и как только не сверзится с такой

высоты? К тому же чуть не на голову выше Виталия, какому мужчине это понравится? – принимала гостей на правах хозяйки. В просторной комнате в коммуналке, которую они, вот уж полгода как, снимали для совместной жизни, накрыт праздничный стол. Сегодня Стеллка постаралась: одних салатов штук шесть или семь; баклажаны такие, сякие; рыба под маринадом... На общей кухне на плите скворчит преогромная сковородка, накрытая крышкой. Идет от нее сытный мясной дух...”

А что, здорово написано, мне нравится. Даже захотелось чего-нибудь съесть. Я прервал чтение, достал из холодильника йогурт, малиновый, вкусный, с клубникой, и кусочек голландского сыра “гоуда”. Ложечкой вылавливал ягодки, закусывал сыром, имел полное свое удовольствие. Жаль, пиво кончилось. Прикончив и то, и другое, вернулся на место. Время – полшестого утра. А спать совсем не хочется, радостное какое-то во мне возбуждение. Листанул книжку. Попал на такую сцену.

“Малявка не хотела спать, орала не переставая. Виталий уже почитал ей сказку, погладил по головке, пожелав спокойной ночи, ушел в гостиную. Как буквально через десять минут раздался этот тошнотворный крик. Пришлось вернуться и, присев рядом с кроватью, мычать детские песенки. Слов он не знал. Опять же гладил по головке, ждал, когда заснет. Анютка закрыла глазенки. Наконец-то, уфф.. Виталий осторожно, стараясь ничем невзначай не скрипнуть, поднялся, медленно-медленно, на цыпочках пошел... У самой двери его догнал дикий анюткин рев.

Виталий сам умирал, хотел спать. После перепитий с поимкой этих чертовых дезертиров, когда он во главе небольшого отряда в течение двух суток бродил по тундре; после перестрелки в конце, в которой они потеряли одного своего товарища, и хоронили потом, он страшно, смертельно устал. Голову б на подушку – и отбыть! А тут... Вдова убитого оказалась в результате в больнице, двухлетняя дочка одна, должен же кто-то с ней оставаться...

Виталий опять вернулся. Сил не было никаких, он прилег бочком на кровать. Девочка, притулившись к его большому телу, тут же замолчала. Он мгновенно заснул. Спал беспокойно, мучили разные сны. Особенно одолевали эротические – у него очень давно не было женщины...”

Я судорожно закрыл книжку. Вспомнил, что было дальше. Перед глазами стояла безобразная сцена изнасилования ребенка, с отвратительнейшими подробностями. И не стыдно же сочинять такой бред?! Подождал немножко, позевал, успокоился. Открыл самый конец. Финал.

“Виталий заранее решил сойти с поезда в Тамбове. Почему именно там? Он, пожалуй, и сам бы не смог ответить. Может быть, потому, что лагерный его дружок был там проездом несколько дней и остался в восторге, много, захлеб рассказывал. А может, просто нравилось название города, звучное и с оттенком какой-то угрозы. Вечная его страсть к опасным приключениям оказалась неистребимой, ни тюрьма, ни лагерь не помогли. Однако, город, на первый взгляд, вполне мирный. Кривые улицы из разбросанных по холмам,

старых трех-четырёхэтажных каменных домов. Но есть и новые, железобетонные. А на окраинах даже деревянные сохранились, правда, ободранные, скосбочились. Похоже, недолго им жить осталось, снесут. Неширокая речка, правый берег обрывист, глина сползает в воду. А на левом рыбаков полно, видать, чистая речка.

Виталий, с единственным своим маленьким чемоданчиком в руке, погулял по городу, благо погода благоприятствовала. “Весна и солнце, день чудесный...”.

Часа через три решил прибавиться к берегу. Понравился ему один переулок: рядом с центром, тихий, весь в зелени. Недолго думая, постучал в дверь небольшого двухэтажного домишки. Открыла старуха: высокая, крепкая, полное румяное лицо в лукавых морщинках, взгляд острый, но доброжелательный.

– Кого вам? – строго спросила она, ощупывая им Виталия с головы до ног.

– Вот, только приехал, пристанища ищу. Комнатку какую не сдадите? Виталий говорил беззаботно, прямо смотрел в глаза, улыбался, изо всех сил старался понравиться. Он знал силу своей улыбки, всегда всем казавшейся открытой и честной.

– А кто будете, и надолго ли к нам? – под напором его улыбки старуха помягчала.

– Инженер я, электрик, из Сибири – соврал Виталий. – Город мне джже нравится, и холода адские надоели. Хочу у вас поработать.

– Ну, у нас зимой тоже не Сочи, под тридцать бывает, – сказала старуха.

– Так, не пятьдесят, круглый, почитай, год – взвыл забавно Виталий.

– Это нет, – оба рассмеялись. – Ну, заходите в дом. Покажу вашу комнатку. там и договоримся, дорого не возьму – пригласила старуха. – Зовут меня Настасья Петровна. А вас как величать?..

На втором этаже, в коридоре, из какой-то двери выскочила собачка. Маленькая такая, пушистая, залаяла на Виталия. Следом за ней выглянула женщина, в домашнем халате и с раскрытой книжкой в руке.

– Жужка, – закричала на собачку Настасья Петровна, – а ну, перестань сейчас же... Вот я тебе!.. – Собачка мгновенно заткнулась, села перед Виталием на задние лапы и завияла хвостом. А старуха, обняв женщину за плечи, представляла:

– Познакомьтесь Сарочка, моя дорогая, Моисеевна: Виталий, мой новый жилец...

С первого взгляда она Виталию не понравилась. Рыхловата на его вкус, чересчур широка в кости, темненькие усики над верхней губой, а ручки – когда подавала, успел рассмотреть, даже интеллигентно приложился губами – хоть и беленькие, а все сплошь в темных волосиках. – Так ведь, еврейка ж, – одернул себя Виталий. – Восточная женщина, мечта поэта. Все они такие. – Но, пригляделся... С другой стороны: полная, соблазнительно пышная грудь,

аппетитный зад, неплохие ноги. Вообще, фигура... Нет, сложена неплохо. Очень даже неплохо, стоит попробовать... Позже.

Пока Виталий устраивался, собака крутилась у него под ногами. Потом куда-то исчезла, и появилась вновь с рыжим псом. Свалявшаяся шерсть, жалко висящие набок уши и вечно виноватые глаза – явный “дворянин во дворянстве”.

– Это Тобик, жужкин ухажер и дворовой покровитель, – сказала появившаяся в дверях комнаты Сара Моисеевна. Она успела переодеться. Теперь на ней было облегающее платье, со значительным вырезом и из хорошей ткани, туфли на высоких каблуках, прелестная маленькая шляпка. Она заулыбалась, глядя, как Виталий становится на колени, закатывает глаза и шутовски ломает руки, якобы он вне себя от восторга. Но при этом прекрасно сознавала, какое впечатление должна была на него производить. Жестом королевы, Сара Моисеевна подняла Виталия с колен.

– Мы идем гулять, – прозвучал мелодичный ее голос, игривый, но не терпящий возражений, – я покажу вам город. А про себя подумала: в этом паршивом городишке нет ни одного порядочного еврея. Этот, кажется, будет моим. Наконец-то!

Боже, как она ошибалась!..”

Так заканчивался роман. Оставляя читателю как бы поле для размышлений о дальнейшей судьбе героя, а писателю – возможность для “второй серии”.

Было совсем уже светло. Я лежал в постели – сна ни в одном глазу! – и размышлял о странной судьбе литературных героев. Брошенные на произвол судьбы по окончании произведения (это, если писатель не догадался их вовремя умертвить), слоняются по жизни... – Ха... Что за литературные штампы?! Я же профессионал. Хоть и бывший. – Ни хрена не слоняются. Живут, как все люди. Маются по разным причинам: кто животом, кто любовью...

Мой-то, Виталька, смотри! Сколько времени уж, а все с Сарочкой. К прежнему не вернулся, не колобродит, не бандитствует. Работает, деньги хорошие зарабатывает. Для семьи, для детей. Вот, за границу выбрался. Нелегко, поди, деньги в Тамбове даются, пахать надо!.. – Так кто же из нас ошибался?..

Кстати, забыл спросить: а дети-то у них есть? – Склероз, ох, склероз!.. Ну, его к черту, это пиво! Все, хватит. Решено: с завтрашнего дня ни единой бутылки... Ни одной. Отпился.

*Михаил
Погребинский*

ОТСРОЧКА СМЕРТИ

Война только что кончилась. Она оставила в некогда уютном южном городке развалины, а в сердцах и судьбах людей глубокие зарубки.

Живым напоминанием о недавних трагических событиях была одна очень странная пара. Разительное отличие их друг от друга привлекали внимание многих: это были высокая женщина с длинными волосами цвета красной меди и маленький увядающий мужчина в старомодном пенсне, семенящий позади нее чуть шаркающей походкой.

Женщину звали Идой, она была еще молода, на вид ей было лет тридцать. Зеленоватые глаза, под слегка припухшими веками, легкий румянец на полноватом лице, грациозная походка делали ее привлекательной, часто заставляя прохожих оборачиваться.

Ее невзрачный спутник со слезящимися глазами и всклокоченной бородкой был едва заметен рядом с ней. Он чувствовал это и боязливо поглядывал по сторонам, беспрерывно вертя маленькой головой. Ида величала его Лазарем Борисовичем, а их шестилетний мальчуган – дядей.

В отношениях этих людей, безусловно, присутствовала какая-то тайна, и те немногие, которые были посвящены в нее, молчали. Жили они в старом, но еще прочном доме в отдаленном переулке у самого парка. Стены их квартиры были увешаны старинными часами, они были и на окне, и на столе, и на полках. Хозяин был часовым мастером, специалистом по ремонту крупных механизмов.

Редко кто-либо из друзей и знакомых навещал их, даже сын никогда не приводил своих сверстников, по-видимому, получив на это запрет.

Однажды поздно вечером высокий молодой майор постучал в двери их дома...

Они сидели молча, пристально разглядывая друг друга, разговор после долгой разлуки никак не клеился. Первой пришла в себя она. Робко подняв глаза, задыхаясь от слез, почти шепотом, произнесла:

– Ты прошел всю войну, Наум, и вернулся. Я тоже прошла весь ад этой страшной войны, потеряв надежду на нашу встречу. Я ждала тебя все это время, но ты не должен был найти меня живой, ведь я возвратилась в этот мир из могилы... и должна остаться для тебя только призраком...

При подрагивающем свете керосинки блеснули ее слезы. Она надолго умолкла, не зная, с чего начать свой рассказ. Наконец, она заговорила. Рассказ ее разил, как остро отточенный кинжал.

– Мы оставались последними из нескольких тысяч, заключенных в гетто. Мы должны были умереть, и этого от нас уже не скрывали. Людей уводили на работу, приказывая брать с собой лопаты для рытья траншей и еду на два дня. Оттуда никто не возвращался. Об их страшной судьбе мы все уже знали.

И вот наступил наш последний день. Нас гнали по Вознесенской дороге, жить нам оставалось то время, за которое мы должны были дойти до могилы. Мы шли вдоль тополиной аллеи, и весна провожала нас в последний путь. Люди шли молча, слез не было, слезы, оброненные на нары и в грязь, остались в гетто. Их было много, слез за три года!

У меня до сих пор отдаются в голове и режут душу звуки сотен подошв, шаркающих по земле. Я никогда не смогу забыть этот кошмар.

Я несла нашего ребенка на руках. И крошка, чувствуя состояние взрослых, прижался к груди и не проронил ни звука.

Нас построили в шеренги. За спинами – глубокий ров, перед нами – пулеметы. Затем всем приказали раздеться, как будто в одежде нам будет душно лежать в этой общей могиле.

Я молила бога, чтобы он сотворил чудо. И оно произошло.

– Сапожникам, портным, часовым мастерам и членам их семей – три шага вперед! – услышали мы команду, и этот приказ прозвучал для меня, как спасение.

Лазарь Борисович стал впереди меня. Я обхватила его плечи руками и шептала:

– У Вас никого на этом свете не осталось, Лазарь! Посмотрите на меня, я ведь совсем молода и красива, мое тело еще способно дать Вам радость. Мой сын не должен лечь в землю... Клянусь вам его жизнью, если мы уцелеем, я стану Вам преданной женой, дочерью, служанкой. Я останусь с Вами до конца Ваших дней. Назовите меня своей дочерью. Умоляю Вас, ради сына, ради жизни, ради Бога!

И он это сделал. Нас погнали назад в лагерь. Мы понимали, что это еще не жизнь, а всего только отсрочка смерти. Им нужны были мастеровые, пока, на время. Но это был наш маленький и, может быть, последний шанс выжить.

Спустя несколько дней мы услышали грохот орудий. С севера к городку прорывались наши войска. У Лазаря Борисовича был пропуск в город для добычи недостающих запчастей при ремонте часов. И он вывел нас с сыном из лагеря. В городе уже была паника, на нас никто не обращал внимания. Мы

прошли мост, а там, на другой стороне реки, уже была свобода. Ты, понимаешь, Наум, свобода...

Потом нас прятала русская женщина. Мы просидели у нее в подвале семь дней, а наверху шли бои, но это были последние дни этой проклятой войны, нашего унижения и горя.

Из всех людей, согнанных в гетто, нас осталось в живых лишь пятнадцать человек. Вот и все... А теперь скажи, Наум, могу ли я оставить человека, который, рискуя, вырвал нашего сына из лап смерти? Мальчик очень похож на тебя, я не скрою от него правду, и ты сможешь видеть его. Ты ведь еще молод и красив, Наум. Я знаю, ты сможешь начать новую жизнь.

Майор сидел в каком-то оцепенении, сжимая до хруста пальцы. Ему не в чем было винить жену. Он винил войну, эту проклятую стихию, отнявшую у него счастье. Он подошел к изголовью кровати, где спал сын, долго смотрел на него, потом поцеловал спящего ребенка, в последний раз обнял жену и ушел из их дома навсегда.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Куриные перья, подхваченные ветерком, веселой стайкой взлетали и мягко опускались на кусты, кружась и играя в водовороте.

У деревянного моста, спрятавшись в высокой траве, худощавый мальчишка с игривым чубчиком, напевая популярную песенку "Чико-Чико", ловко и быстро обдирает двух зарезанных кур, и в каждом летящем перышке ему мерещилась десятикопеечная монета. Он зарабатывал деньги собственным трудом, твердо усвоив, что деньги не пахнут.

В его родном городке жители придерживались строгого предписания Торы – не выпускать кровь из птицы собственноручно, а предоставлять эту работу шойхету. Тот резал кур и выдавал их клиентам чисто ошипанными. Единственным мастером этого дела был старик Теплицкий. На эту работу он имел специальное разрешение раввината. В базарные дни у его рабочего сарайчика выстраивалась очередь. Теплицкий подвешивал связанных за ноги кур на крюки. Птицы, находясь в таком неудобном положении, бились, размахивали крыльями и, по-видимому, предчувствуя близкую кончину, издавали ужасающее кудахтанье. Шойхет зажимал курицу между ног, ловко запрокидывал ее голову на спину, вырывал щепотку перьев на горле и молниеносно резал ее сапожным ножом. Ошпарив птицу в тазике с кипятком,

он очищал ее от перьев. Гладкая как новорожденный младенец, тушка возвращалась на свой крюк. Работал Теплицкий с высоким вдохновением и даже страстью, бормоча слова молитвы и слегка пританцовывая. После каждой очередной жертвы он тщательно вытряхивал из носа и бороды застрявший в них пух.

Веня, так звали нашего героя, был единственным сыном маленькой круглолицей женщины, которая была модисткой и зарабатывала на хлеб, выполняя работу на дому у заказчиков, Нарядные платья, которые она кроила из крепдешина и крепжоржета, не отличались изысканным фасоном, и порой, не находя в клиентке хоть какого-то намека на талию, шила их прямыми и с большим припуском. Всякий раз при очередной примерке, слегка одергивая полы платья, она убежденно приговаривала:

– Ну вот видите, как хорошо сидит, ровненько, свободненько, аккуратненько.

Веня очень любил свою маму, но он также еще любил и карманные деньги, открывающие ему некоторую свободу и даже комфорт. Треугольные вафли с душистой розовой начинкой и восхитительные брикеты мороженого, зажатые с двух сторон вафельными пластинками, безудержно и дьявольски тянули его в пристанционный буфет.

Ради этих деликатесов и овладел он ремеслом резника и раз в неделю сам обрабатывал двух маминых курочек не хуже шойхета.

И надо же было случиться, что встретились они на мосту через реку Буг. Шойхет Теплицкий направлялся из Голты в Богополь, а Венина мама, Геня, следовала в обратном направлении.

– Здравствуйте, мадам Кабакер,– приветствовал ее старый резник,– с праздником вас. Желаю доброго здоровья и полную чашу дома.

– Спасибо, рэб Йойне, и вам того же, и чтобы Бог был милостив к вам на старости,– ответила Геня.

– Как вообще поживаете, что у вас сегодня к праздничному столу?– продолжал старик.

– Слава Богу, живем не хуже других. Есть наливочка, свежая хала, жаркое, фаршированная рыба, холодец из петушков. Заходите, рэб Йойне, будем вам рады,– пригласила Геня.

–А что, скажите, мадам Кабакер,– слукавил Теплицкий,– вы теперь решили резать кур сами, чтобы не дать мне заработать пару копеек раз в неделю?

– Ну что вы, реб Йойно, Бог с вами, постыдились бы такое говорить. Вы же сами знаете, что я каждое воскресенье посылаю к вам своего Веню с двумя курочками, даю ему для расчета с вами два рубля.

– Я хоть и стар,– заметил резник,– но память у меня не отшибло. Я вашего мальчика не видел уже полгода.

– Чтоб мне околеть на этом месте, если я говори неправду,– начала распалаться Геня,– если вы не верите, спросите у моих соседей, они не дадут соврать, сколько перьев мне приходится после вашей работы выдергивать из крылышек и хвостов, иметь бы мне столько счастливых: лет.

Теперь пришла очередь возмутиться старику, ибо была затронута его профессиональная гордость. И неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы Геня случайно не бросила взгляд на противоположный берег реки. Там, у моста, кусты были усеяны таким количеством куриных перьев, что казалось, будто они выросли на кустах вместо листьев.

И вдруг страшная догадка смутила ее воображение. Как же она сразу не додумалась? Ведь с ошпаренной кипятком курицы легко и чисто снимаются все перья. Теплицкий, надо признать, за дело рук своих никогда не краснел. А ее Веня, чтоб его холера прибрала, уже с полгода не просит у матери на карманные расходы.

– Чтоб его гром побил,– запричитала Гоня,– а мне лопнуть со стыда на этом месте. Ведь недаром я говорила моему покойному Фишлу, мир праху его, что из нашего сына вырастет настоящий налетчик.

Вечером, выслушав полный комплект назидательных нравоучений, Веня был нещадно избит матерью и лишен карманных денег. а главное, самолюбие и свобода его были надолго попораны.

С тех пор, каждое воскресенье, возвращаясь с базара, Геня сама направлялась к сарайчику Теплицкого, торжественно неся в руках пару жирных кур.

Анжелла Подольская

КУПЕ НА ТРОИХ

Поезд медленно тащил свое уставшее тело от станции к станции. На каждой из них подолгу простаивая, ни одну не обходя своим вниманием. Расстояния между ними он покрывал быстрее, чем потом отдыхая на них. Был он старый, разбитый. Все в нем дребезжало, отваливалось, сквозило запустением. Давно уже перестал он быть «скорым». Одним словом – «пассажирский». Вот и сейчас, расстояние от Ленинграда до Киева он должен был покрыть за тридцать шесть часов, но уже шел с опозданием в час десять, а еще не пройдено и половины пути.

Была ночь. Лежа с закрытыми глазами, она вслушивалась в бормотание колес: «гу-тту, гу-тту». Сон не приходил. На душе было скверно.

«И зачем только поехала в эту командировку? – сверлила мысль. – Инерция какая-то. Как это в пословице говорится? «Любят ни за что, а уж не любят – так за все».

То ли у нее другое зрение открылось, то ли прежде была слепая, но последнее время что-то безотчетно раздражало ее в нем. То, за что раньше боготворила, сейчас вызывало недовольство, порой, злость. Затянувшиеся отношения, поначалу безмятежной гармонии, тревожного ожидания, так и оставшиеся, к счастью, платоническими, стали тяготить ее. Вот и сейчас, мощный, трубный храп чужого старика с нижней полки, которого в последний момент проводница подселила к ним, не вызывал такой иронии, как легкое, повсвистывающее посапывание «предмета» ее страсти. Она поехала, вспомнив многозначительную усмешку, с которой взглянула на нее проводница.

«А, какая разница, что она обо мне подумала, – промелькнуло в голове. – Я ведь никогда не увижу ее больше. Важно, что я о себе думаю. О себе, о нем. Скорей бы домой. Войти в квартиру, отгородиться от всех».

Скептически улыбаясь, она мысленно листала страницы жизни последнего времени. Сколько раз, думая о взаимоотношениях между нею и человеком с верхней полки, о флюидах, витавших в воздухе, о тайном, запретном, а потому еще более притягательном, ей представлялось, что «это», непременно должно произойти в поезде, несущемся на бешеной скорости. Она спит. Но, вдруг, что-

то нарушает ее сон, и открыв глаза, она видит его, стоящего на коленях и целующего ее руки. Мысленно преодолев грань в их отношениях, стала избегать близости с мужем, который оставался родным человеком, но... Как бы это объяснить. Она искренне любила мужа, но уже давно не была влюблена в него. Всякий раз выдумывала отговорки: то – головная боль, то – запрет врача, или еще что-либо. И, когда муж все-таки настаивал на своих супружеских правах, она, закрыв глаза, думала о другом.

«Что так притягивало ее в этом, другом? Искус новизны? А может быть жизнь ее, по-своему благополучно сложившаяся, в последние годы монотонная и однообразная, стала, вполне, благоприятной почвой для новой влюбленности? Она все придумала. Придумала героя, который не состоялся. Наделила чертами, которые хотела видеть в нем. А этот, другой, был иным, даже отдаленно не напоминал придуманного. Ведь еще до поездки чувствовала, нет, твердо понимала, что не следует ехать, что поездка эта не в силах исправить нечто, уже надломившееся в ее душе. Но какая-то тайная мысль, сидящая в подсознании подталкивала: «А все-таки, чем все это может закончиться?»

После трехдневной командировки они возвращались домой. Тщательно спланировав эту поездку «вдвоем», он не учел, что все дни их будут загружены работой, а возвращаясь в гостиницу, где у каждого был не одноместный мужской и женский номера, им так и не удастся остаться наедине. Поэтому вчера, ничего не сказав ей, он рванул на вокзал и обменял их билеты на эту развалюху. Вернувшись на работу, шепнул:

– Я все устроил... У нас – купе...

Перед отходом поезда, с вокзала, они звонили домой. Подойдя к вагону, она удивилась, что номер у него одиннадцатый, а не третий, как он упомянул в разговоре с женой. Войдя в вагон, они увидели, что он наполовину пуст. При этом, проводница не могла понять, почему у них четыре билета на двоих.

– Вам места мало? – рассмеялась она. А вагон-то пустой.

– Не ваше дело! Вас это не касается. А хоть бы и весь вагон, вам-то что? Считайте, что у нас «СВ». Впрочем, какое «СВ» может быть в такой развалине? Давно пора на переплавку, а вам – на пенсию – взорвался он, о чем пожалел через пять минут, когда на пороге их купе возникла проводница с этим посторонним пассажиром.

– У меня распоряжение начальника поезда, – сказала она. – Пассажиров мало, надо всех разместить вместе. Вот Ваше место, – указала она пассажиру на нижнюю полку. – А этот умник и на верхней переспит, молодой еще, – и, рассмеявшись ушла.

Вжавшись в угол у окна, она вздрагивала от его крика. Выскочив за проводницей в коридор, он кричал о произволе, о том, что будет жаловаться, еще что-то, слов его она уже не разбирала. Вернувшись, беспомощно развел руками.

– Чего шумишь? – вдруг, заговорил пассажир.– Я сейчас спать лягу. Мешать не буду. Так что, зря шумишь.

И, действительно, расстелив постель, улегся в чем был и захрапел.

Повисла пауза, затем, оправдываясь, он сказал:

– Не сердись... Ты не дуешься?

– Нет, конечно, нет. Все к лучшему. Только, почему ты так кричал?

– Но, она же стерва, не имела права,– придвинувшись к ней, он зарылся лицом в ее ладони.– Я так ждал, когда мы останемся одни.

– Да, но мы не одни.

– А, не обращай внимания! Старый мужик. Устал, храпит. Слышишь?

Он притянул ее к себе, стал целовать. Она наблюдала за происходящим, как бы, со стороны. Прислушивалась к себе, к раздававшемуся храпу, и глухое, все то же, неприязненное чувство снова возвращалось к ней. Губы ее были холодны и безответны. Она оттолкнула руки, раздевающие ее.

– Но, почему? Мы так долго ждали этого.

– Ты? Ждал? – усмехнулась в ответ.

Почувствовав иронию, он вспыхнул:

– Объяснись... Не понимаю...

– Ладно. Отчего ты сказал жене, что приезжаешь в третьем вагоне? У нас, кажется, одиннадцатый.

– А... Вот ты о чем,– устало произнес он.– Видишь ли. Она будет меня встречать. И было бы странно, появишься мы вместе. Ты не находишь?

– Странно? Однако... Ты ведь говорил, что вы давно не любите друг друга и вас ничто не связывает. Что ты готов объявить о нашей любви всем. Не поручусь, что ей неведомы наши отношения. Во всяком случае, на работе никому в голову не взбредет, что у нас только прелюдия. Поехать, вдвоем, ты рискнул, и, даже, специально все устроил. Чего же испугался теперь? Я, женщина, не боюсь, а ты...

– Пойми,– прервал он.– Зачем поднимать шум заранее, все усложнять? Лишние сцены, крик, плач. Когда мы решим все окончательно...– Он снова попытался обнять ее.– Дорогая, я так больше не могу. Я хочу тебя. Сейчас. Здесь. Не омрачай этих минут. Пойдем, я найду пустое купе. Пойдем,– бормотал он, потянув ее за руку.

– Подожди.– отстранилась она.– Ты был так вежлив с проводницей, что пустое купе может нам дорого обойтись. Ненужные сцены, да и до работы докатиться может.

Не почувствовав очередной иронии и сразу став серьезным, спросил:

– Ты думаешь? Да, возможно ты права. Посмотри, он же спит, ничего не слышит...

– Нет, мой дорогой! Я не на эротическом театре. Отложим до лучших времен.

– Что же нам делать? Все складывалось так удачно, и вдруг...

– Что делать? Спать, конечно. Да и ночь уже. Давай укладываться.

Прошло не менее часа, пока ей удалось отправить его на верхнюю полку. Он целовал ее руки, строил планы, что приехав, снимет гостинку где они смогут встречаться. «И, почему эта мысль, не пришла ему в голову раньше?», сокрушался он.

Теперь он спал, и его посапывание раздавалось в унисон громкому храпу незнакомца. Она так и не уснула, все время, спрашивая себя: «Что же довлекло над ней эти последние месяцы? Болезнь какая-то? Опиум? Пиковый возраст, когда сознание женщины иррационально? Да уж, гостинка! Нет, милый мой! Кто угодно, но только не я. И, что особенно важно сейчас – единственно верный тон в общении. К сожалению – один отдел, один коллектив. Никаких гостинок. Никаких командировок «вдвоем». Бог мой! Как все просто, оказывается!» Волна облегчения разлилась по телу.

Она не заметила, как рассвело.«Пассажирский», как ни странно, набирал обороты, пытаясь наверстать упущенное. Она тихо встала, оделась. Взяв свои вещи, выскользнула из купе. Пройдя в конце состава, в сторону противоположную от третьего вагона, отыскала свободное место. «До Киева не поеду – просила не встречать. Так что, свободная птица. Выйду на предпоследней станции. Оттуда, пригородные электрички через каждые пятнадцать минут. Доберусь. Скорей бы домой».

НЕДОПИТЫЙ БРЕНДИ

Галя сидела уставившись в пустоту. На столе стояли грязные тарелки, остатки ужина. Не хотелось двигаться. Вот так бы сидеть и сидеть. Она плеснула в рюмку остаток бренди, выпила и, подцепив ножом кусок буженины, отправила его в рот.

Не знала, то ли смеяться, то ли плакать. «Что это? – сквозь навалившийся алкоголь, размышляла она. – Фарс? Трагикомедия? Grimасы эмиграции? А почему эмиграции? Разве дома, там, в Ленинграде, с ней не могло произойти подобное? Вполне, даже, могло. Дома, особенно, последние годы, она жила по принципу : «Когда закачается земля под ногами – прошу, спаси меня, моя работа». Здесь, земля все время качается, а работы спасительной нет. Да, мужики! Мать их! – ругнулась она.– Что у них в голове? Одна извилина? Да и та прямая? »

На бывшем муже, оставшемся в Ленинграде и сошедшемся с другой женщиной, она уже давно поставила крест. – Вспоминая прожитую жизнь, находила в ней мало светлых минут. «Кто виноват? Может быть она? Ведь, климат в семье от женщины. Все надеялась, может вернется. Все-таки, за

спиной двадцать пять лет совместной жизни. И, шесть – врозь, которые и перевесили. Тогда, уставшая от работы и от домашних дел, не пошла на ту злополучную вечеринку. А его умыла, придела и отправила. Там, он и познакомился с «той», такой же русской бабой, как и она. И через месяц переехал к ней. Ее мужа, еврея, почему-то всегда тянуло к русским женщинам. А она, Галя, даже и не понимала теперь, кто она-то сама, русская ли, еврейка? И фамилия у нее от мужа осталась еврейская, на немецкую похожа, и дочь, да и прожила всю жизнь в их семье. Тогда, все навалилось вдруг и сразу. Муж ушел к другой. А единственная дочь, двадцати двух лет, гостившая в Германии со своим мужем не вернулась обратно. «Сдались». Слово, новое – хорошо забытое, старое. Для нее, это был страшный, двойной. удар. Думала, с ума сойдет. Ничего, выжила. Три года в разлуке с дочерью, пережила, как тяжкий сон. А три года назад, не выдержав, сама к ним приехала. Сколько хлопот, формальностей. Утрясли. И, вдруг, зятю, в совместной американо-немецкой фирме работу предложили. Он инженер по автоматике, телемеханике и чего-то еще. Что у них там, в Америке, своих-то нет? Вот, и получилось, что она – к детям, а они – от нее. За детей она рада. У них все будет хорошо, должно быть. А вот ей-то, как жить? Что делать? Чем себя занять?»

Приятельницы, зачастую, тоже одинокие, говорили :

– Галка! Ты еще не старая, симпатичная. Надо жизнь налаживать, познакомиться с кем-нибудь.

Она долго раскачивалась : « Ну, как это, познакомиться? И не удобно как-то. Да, и не привыкла она. Со студенческой скамьи, как за «своего» вышла – других мужчин для нее не существовало. И, некогда ей было. Работа, дом, ребенок – все было на ней. Она не жаловалась, даже, любила повыпендриваться, «какая, мол, она хозяйка». Всегда все чистенько, уютно, наготовлено, нашито. А теперь, оказывается, выплюнутая жизнь. На носу – шестьдесят, а она одна. И она «переступила», пошла знакомиться. С виду мужчина, как мужчина. Чуть постарше ее, то ли вдовец, то ли разведенной, не разобрала. Правда, не совсем, в ее вкусе». Но, приятельницы сказали :

– О каком вкусе ты говоришь? Забудь. И, планочку, планочку-то, опустить надо. Поняла?

«Да, она поняла. Переломила, убедила себя. Несколько раз встречались в городе. Бродили по улицам, заходили в магазины. Она ему про себя, в первый же день, все рассказала. Он, тоже, о себе немного рассказал, но очень скупое. Сказал, что живет один в общежитии, что ищет квартиру. У нее сразу мелькнула мысль: что... с женщиной. А, почему бы и нет? – сказала себе. – Неделю назад в кафе пригласил. Заказал кофе со сливками. Ну, хоть бы, пирожное какое, для разнообразия? Жмот, – промелькнуло в голове, и, опять, возразила себе. – Ну, почему, непременно, жмот? Экономный. И, потом, все мы здесь, в одинаковом положении находимся. С чего бы ему меня пирожными кормить?»

Но, за то, что в кафе пригласил, чувствовала себя, как бы, в долгу. Пригласила на сегодня к себе. На ужин. Сначала думала: «Небольшой, скромный ужин.» Потом... Ну, не умеет она «скромно» принимать, и выложила на полную катушку. Нет, не гастрономия какая-нибудь. Все – домашнее, с любовью приготовленное. К ужину все было готово. И она готова. Надела свою любимую блузу. Хотелось быть красивой. Не только для него. Настроение было приподнятое. Ей почему-то казалось, что она дома, в Ленинграде. И сейчас сойдутся ее друзья и родичи. К ней любили ходить.

Звонок прозвучал ровно в девятнадцать. «Пунктуальный» – отметила она, открывая дверь. Пришел. Ни цветов, ни коробки конфет в его руках не было. Только чемоданчик. Он прошел в комнату, осмотрелся, похвалил, что все красиво, со вкусом подобрано. Но, ей, почему-то, расхотелось его кормить. «С другой стороны, столько наготовлено, не пропадать же. Расслабься» – приказала она себе и пригласила его к столу.

Да, поесть он любил. На «шару». Умел бы все, если бы она позволила. Вначале, она наблюдала, как он опустошал блюдо за блюдом, не поднимая глаз от тарелки. Потом подумала: «Чего это я? Я же у себя дома». И припустила за ним. Десерт не подала. Торт тоже. «Перебьется, – решила. – Лучше я завтра «девчонок» позову».

Наконец, насытившись, он спросил:

– Галиночка, Вы не обидитесь? У нас вторую неделю душ не функционирует. Я же, как человек интеллигентный, привык еженедельно...

– А?! – перебила она. – Понимаю. Вы пришли душ принять? И отужинать заодно? Вот к чему чемоданчик – то. Что у Вас там? Смена белья? Так!... Вы не стесняйтесь, валяйте...

– Ну, зачем же так, Галочка? Я же по-простому...

– Да уж, по-простому. Проще и представить трудно. Идите в ванную, – гаркнула она.

Бросив испуганный взгляд в ее сторону, он выскочил в коридор, взял чемоданчик и скрылся в ванной. До нее доносились его пофыркивания и похрюкивания. Он, даже, что-то напевал. Она следила за часами, которые отмерили его тридцати минутное пребывание в ванной. И, только хотела вскочить и выдворить его оттуда, как он, чистый и сияющий, потирающий от удовольствия руки, возник на пороге.

– Сейчас бы чайку горяченького, Галочка.

– Где ваш чемоданчик? – спросила она.

– Что? Не понял.

– Чемодан ваш где, спрашиваю.

– В ванной он. А что?

– Так возьмите его. Возьмите и идите.

Ничего не понимая, он стоял и смотрел на нее. «Одноклеточное» – подумала она и прошла в ванную. Вынесла чемоданчик и, сунув его ему в руки, стала подталкивать к выходу.

– Вы обиделись? Я понял. Но я же по-дружески. Можно мне вам еще позвонить? – спросил он. – Звоните. Когда помыться надумаете, звоните. Не стесняйтесь, – ответила она и захлопнула дверь.

Окинув себя в зеркале недобрый взглядом, произнесла :

– Балда ты, балда, Галина Николаевна. Разоделась, как дура.

Прошла в комнату и села у стола. Сидела долго, допивая бренди. В висках отстукивала мысль: «Ce la vie!»...

Изира Рабинович

НОКТЮРН

*А Вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?
В. Маяковский*

Я тихо взяла несколько аккордов и прислушалась. Они притихли и ждали, что будет дальше. Благодаря искусству осветителя я парила над сценой в клубящихся парах и не видела их, потому что в зале было темно, а я сидела вполоборота. Но их слышала. Не ушами. Кожей. Слышала их дыхание. Мне казалось, я даже слышу, как течет кровь в их жилах.

Я вздохнула и повторила фразу чуть громче. Так было у Шопена. Они ждали. Я заиграла мелодию. Грустно понеслась она по залу, и я кожей ощутила – они понимают все, что Шопен и...я хотим им рассказать. Я играла им про свою жизнь. Про все хорошее, что у меня было, но давно прошло. И у них, наверное, тоже было. Я играла им про первую любовь, про первый поцелуй, про соловьиные ночи и ветку жасмина. И в зале пахло жасмином. И я слышала, как они плачут. Плачут потому, что это все было и у них, было у каждого, и только один раз.

– Не плачьте, – играла я им. – Конечно, первое не повторяется, но будет второе. Оно будет прекрасно. Оно будет еще лучше, чем первое. И тогда даже первое покажется ненастоящим.

Они слушали музыку. Они слушали, что я им рассказывала. Они даже думать начали в унисон. Я знала, каждый спрашивает себя; “Ну, почему мне одному столько горя, а другим одно счастье?”

– Не надо так думать, – играла я им. – Каждому чего-то не хватает. Одному денег, другому любви, третьему кажется, что он плохо одет, а четвертый никак не дождетя удачи. Но ведь можно думать иначе. У меня нет денег, зато мне повезло в любви. У меня нет... , зато... И тогда все почувствуют себя счастливыми. Я желаю Вам счастья. – играла я им. Вот только сама я... Разве я была счастливой?

Я играла историю своей жизни. Пьянниссимо. Они прислушивались. Я заиграла громче, будто что-то вспомнила и не могла остановиться. Ком

подступил к горлу, душили слезы. Кончиками нервом я чувствовала, что им жаль меня, что они тоже плачут. И я продолжала.

Я была молодой и прекрасной. Они любовались мной, они меня любили. И я любила их. Я знала – теперь я могу делать с ними, все что захочу. Но я сделала совсем немного. Я изменила один звук. Всего на полтона. И музыка из минорной превратилась в мажорную. Стало легко и прозрачно. Так хотел Шопен.

Последний звук повис в воздухе. Я уронила руки. Зал взорвался аплодисментами. Я была счастлива – ради этого я жила!

Погас свет.

В темноте я нашарила под роялем свою палку и заспешила прочь со сцены. Надо успеть, пока снова не зажжется свет. Чтоб они не увидели, что я старая и страшная. Я должна остаться в их памяти молодой и красивой.

Они аплодирует моей жизни, блеску моих глаз, моим роскошным волосам... Они аплодируют моей музыке. Шопена и моей.

А все остальное никому неинтересно.

Борис Черепашенцев

ПАХОМЧИК

Началась эта история во второй половине двадцатых годов. Тогда из глухой воронежской деревушки приехала в Москву восемнадцатилетняя девушка Нюра Пахомова. Никаких родных и знакомых, разумеется, в городе у нее не было. Придя пешком с вокзала в центр города, она села на скамейку в сквере на Театральной площади, в сквере, где теперь высится кербелевский Маркс, бородатый, напротив гостиницы «Метрополь». Надо сказать, что в ту пору, там размещался второй дом Советов, где жили и работали всякие партийные и государственные чиновники.

Ближе к вечеру из гостиницы вышла подышать свежим воздухом стайка девушек. Увидев одиноко сидящую Нюру и узнав, что в городе у нее никого нет, они предложили ей переночевать у них.

На следующий день девушки устроили ее уборщицей в гостинице. В задачу Нюры входили уборка жилой комнаты и кабинета одного из руководителей Австрийской секции Коминтерна. Звали его Алоиз.

Свои обязанности девушка исполняла истово, с чисто крестьянской добросовестностью и, в результате, вскоре родились у нее два сына—погодка — Шурка и Левка. Наступили тридцатые годы. Колесо большого террора сделало еще один оборот и под топор усатого палача пошли верные ленинцы — свои и иностранные. Почти вся австрийская секция Коминтерна и ее руководители были арестованы и сгинули в недрах Гулага.

С Александром Пахомовым я встретился впервые в институте. Мы учились с ним вместе на одном факультете и курсе. Это был невысокий белобрысенький паренек, не без способностей, необычайно проницательный, предприимчивый и контактный. На факультете все звали его Пахомчик. От остальных студентов-технарей он отличался тем, что, во-первых, был абсолютным трезвенником, и во-вторых, и это главное, обостренным интересом к религии и национальным вопросам.

Часто, приходя к нам в общежитие, он разглагольствовал о происках сионистов, о всемирном еврейском заговоре, об особой роли православного восточно-европейского славянства в борьбе против еврейского засилья. Любил он также рассуждать об угрозе для белой расы со стороны желтокожих и чернокожих народов. Обычно он цитировал работы русских дореволюционных антисемитов, в том числе и пресловутые протоколы сионских мудрецов. Бог

весть, где он их в те годы доставал. Seriously его никто не воспринимал, посмеиваясь над чудачком. Правда, иногда закрадывалась мысль – а не провокатор ли он?

Прошли годы учебы, наступил достопамятный пятьдесят второй год. Мы, студенты, безропотно ожидали распределения на работу. Но не таков был Пахомчик. Он не ожидал никаких милостей от комиссии по распределению и загодя начал самостоятельно искать престижную и хлебную фирму.

И здесь случился конфуз. Придет Шура, бывало, в отдел кадров. А там спрашивают:

- Фамилия?
- Пахомов.
- Отлично!
- Имя?
- Александр.
- Тоже терпимо.
- Отчество?
- Алоизович.

Тут лицо кадровика обычно как-то скучнело и он начинал канючить, что, дескать, вакансия как-то внезапно улетучилась, что позвоните немного попозже, эдак месяца через три, а лучше через полгода. Может быть, у нас что-то появится для вас и прочую чушь.

Пахомчик понял, что с таким отчеством, как у него, не видать ему престижной фирмы, как своих ушей. Стало ясно – отчество надо менять, – но на какое? Идеальный вариант – это стать Ивановичем или каким-нибудь Кузьмичем. Но надо было как-то сократить инициалы. И наш деловой Шура ухитрился-таки поменять свое отчество на Андреевич. Видимо, потому, что маму величали Анна Андреевна. Теперь согласитесь – Пахомов Александр Андреевич – это уже совершенно другое качество.

Вторично наши пути с Пахомовым пересеклись лет через двадцать. Он был уже к этому времени кандидатом наук, доцентом одной из общетехнических кафедр престижного московского института, института, куда евреи ни в качестве студентов, ни в качестве сотрудников не допускались на пушечный выстрел. Как в каждом научном коллективе, кафедре время от времени сотрясали мелкие или крупные конфликты. В одно прекрасное время такой конфликт разгорелся между доцентом Пахомовым и старым, заслуженным профессором, заведующим кафедрой. Конфликт вскоре выродился в борьбу, как теперь говорят, компромата и шел с переменным успехом. Вскоре, одно явно выразилось преимущество более молодого, настырного и беспринципного доцента. Припертый к стенке профессор предпринимал героические усилия для

защиты, и каким-то образом он раздобыл сведения, что Пахомов, в свое время, изменил отчество.

В склеротичном мозгу старика-завкафедрой в первую очередь возникла мысль, что Пахомов – еврей. С этим открытием он помчался в ректорат и в партком, восклицая: «Товарищи! Мы проморгали – в наших рядах оказался чуждый нам человек – еврей. Следует немедленно изгнать Пахомова из нашего здорового коллектива!»

«Полноте, профессор,» – ответили ему в инстанции. «Ну, какой он еврей, вы разве не видите, что Александр Андреевич наш человек, типичный русак. Да, и потом, вряд ли найдется у нас другой человек, который бы так презирал и ненавидел это картавое племя, как доцент Пахомов».

Оскорбленный в своих лучших чувствах наш идейный русофил и юдофоб решил жестоко отомстить противнику. Ему удалось подговорить двух студентов, и те пожаловались ректору, что-де профессор требует от них за положительные оценки неких интимных услуг. Кстати, сам он неоднократно это делал. И, как ни отбивался завкафедрой от клеветы, говоря: «Помилуйте, какие могут быть сексуальные домогательства? Посмотрите на меня – я стар и немощен», участь его была решена – его выдворили на пенсию. Стар и немощен все-таки.

Шли годы. Настала эра перестройки, гласности, реформ, относительной свободы. И тут дети рабочих и крестьян начали судорожно искать в своих родословных дворянские, купеческие или, на худой конец, кулацкие корни.

Наш герой тоже подумал: «А, быть может, и мой незадачливый папаша какой-нибудь баронский или княжеский отпрыск. И, чего доброго, я являюсь наследником какого-нибудь дворца на берегу Дуная или охотничьего домика в Австрийских Альпах?» И написал Пахомов запрос в Австрийский Красный Крест с просьбой найти его предков или родственников.

Через некоторое время пришел ответ на запрос. Чиновники в Австрии добросовестно провели поиск и ответили, что отец нашего юдофоба один из многочисленных детей венского раввина и, что, к великому сожалению ни родственники раввина, ни их потомки в настоящее время на территории Австрийской республики не проживают. Поиски недвижимого имущества раввина продолжаются и о результатах заявителю будет сообщено дополнительно.

Ну, и что, скажете вы. Ведь это частное дело уже немолодого человека, тем более, что известно оно довольно-таки узкому кругу лиц. Но для Пахомова это был удар сокрушительной силы.

Однако, финал этой истории оказался непредсказуемым.

Перед самым моим отъездом из России, я спросил как-то нашего общего знакомого, как поживает наш герой.

– Знаешь, – сказал он. – Похоже, Пахомчик тронулся. Заделался ортодоксальным евреем. Правда, в синагогу ходить стесняется и обрезание

делать на старости лет боится. Рассуждает к месту и не к месту о величии и жизнестойкости богом избранного народа и о роли его в становлении иудео-христианской цивилизации, достал где-то русский перевод популярного изложения Торы, учит по самоучителю иврит, мечтает умереть в святой земле. Свою жену, милейшую Валентину Тимофеевну, извел совсем. Бедняжка плачет, не знает, что ей делать со своим свихнувшимся на национальной почве муженьком.

Воистину, как говорится, — Бог шельму метит.

Игорь Ачильдиев

ОЧЕРКИ СУДЬБЫ

“ ЖДИ МЕНЯ...”

Первую половину этой до сих пор неразгаданной истории мне поведал главный ее участник – Залман Афроимович Румер, или как его звали в “Литгазете”, Зяма. В тридцатые годы он заведовал отделом рабочей молодежи в “Комсомолке”, был членом ее редколлегии.

Однажды Зяму послали в командировку : “накопать компромат” на ленинградскую комсомольскую организацию. Было это в славном тридцать седьмом... Румер вернулся из Питера в полном недоумении: ребята свои в доску, дела идут неплохо – чего еще надо? Он так и написал в отчете.

Тогдашний главный редактор “Комсомолки” Н.А. Михайлов задал ему трепку.

– Тебя послали не хвалить, а разоблачать. Мы что, этих гадов собираемся представлять к орденам? Иди, Румер, и подумай над своим поведением.

Зяма не был подлецом и не переписал отчета. Наивный человек, он думал, что все ограничится начальственной выволочкой!

За ним приехали под Новый, 1938 год на черной “эмке”. Румер был, как говорится, в запарке: вел номер. Головы не поднять! А вечером – в театр, потом в гости, к тому же Михайлову – встречать Новый год. Зяма на работу пришел в парадном костюме, при галстукке, в белой рубашке и модных туфельках. В них его и взяли.

Подошли двое и спрашивают:

– Товарищ Румер? Вас срочно вызывают в ЦК партии.

– Ребята, – отвечает не настолько уж наивный Румер, который сразу все понял. – Какой может быть ЦК, когда у меня номер на руках ? Спины не разогнуть...

– Так ведь на час, не больше. У нас и машина внизу.

Зяма шел по длинному коридору “Комсомолки”, уже заранее готовя себя ко всему. Хотя и надеялся на лучшее, не показывал вида, что он чем-то обеспокоен. Он выскочил на тротуар перед “Комсомолкой”, поднял голову и крикнул, грозя кому-то пальцем:

– Без меня первой полосы не трогать! Вернись через час.

Он нырнул в черную “эмку”, тут же с него сорвали именные золотые часы и... в Москву он вернулся через десять лет, чудом вырвавшись из колымских лагерей. Он понимал, что его могут снова арестовать, поэтому

скрывался, неделями жил в шкафу у жены – это в коммунальной-то квартире! Через два года его действительно опять посадили на два года, он шесть лет отбухал в лагерях и ссылке. Потом вернулся, ему удалось устроиться во Владимирской областной газете.

Я с ним познакомился осенью 1970-го, когда Зяма служил заведующим отделом писем в “Литературной газете”, куда пригласил и меня, чтобы я организовал литературную группу отдела писем.

Обряд приема проходил весьма необычно. Кадрами, как и прочими важными делами, в “Литературке” ведал Виталий Александрович Сырокомский. Румер привел меня к Сыру... Но тут надо сказать, что в “Литературке” всем давали прозвища. А.Б. Чаковского звали просто Чаком, его заместителя А.С. Тертеряна – Тером (была даже поговорка: “Ты сер, а я, приятель, Тер”). Володю Кокашинского звали Коком, спецкора Владлена Травинского звали Травой. Виталика Моева – Вол. А Сырокомского звали Сыром. Или – иногда – Сыргоркомским, за его большие связи в партийном аппарате. Так вот, Сыр взял в руки мою анкету и начал медленно, словно нехотя, ее читать.

– Так, А-чи-льди-ев, говорил он, растягивая слова. – Трудно! Трудно, но можно... Пойдем дальше: Игорь. Это хорошо! Очень просто – Игорь! Теперь отчество: У-зи-ель-евич...

Неожиданно он бросил анкету на стол.

– Нет, не пойдет, – сказал он твердо. – У нас уже есть Залман Афроимович, и хватит.

– Ладно, – примирительно бросил я. – Пусть будет Михайлович, если вам так удобнее.

И тут вмешался Зяма.

– А меня, – сказал он, – в лагере звали Гастрономом Астрономовичем....

Сыр даже согнулся в кресле от такого антипартийного выпада.

С этого момента я влюбился в Зяму. Отношения с ним складывались непросто, нас умело натравливали друг на друга, порой мы ссорились. Но первого момента симпатии я никогда не забывал.

Кстати, в “Литературке” его звали Залпом Аврорычем: он любил демонстративные акции, рассчитанные на начальство, требовал от сотрудников, чтобы мы заказывали статьи самым именитым авторам, с громкими чинами и званиями. Собственно, вся эта история и открылась мне именно поэтому.

Дело было так.

В первую годовщину присвоения Зяме звания заслуженного работника культуры РСФСР он отправился в соседний ресторан “Нарву”, который стоял тогда на углу Цветного бульвара и Самотеки, рядом со старым зданием “Литературки”, – спрыснуть событие. Значит, было это, как я установил по дате Указа, 16 января 1971 года. Вернулся он из ресторана

несколько расслабленный, веселый и, разумеется, под хмельком. Сел в общей комнате, а не ушел сразу к себе в кабинет. Закурил папиросу, пустил первый приятный дымок... И тут вошла одна из сотрудниц отдела, Марина, которая сказала:

– Вот вы, Залман Афроимович, меня ругаете, а я, между прочим, заказала статью самому Симонову.

Зяма презрительно фыркнул.

– Подумаешь, – сказал он. – Симонов! Меня из-за вашего Симонова чуть не расстреляли.

Ну... Тут уж я вцепился в него мертвой хваткой и не выпустил, пока он не рассказал до конца эту историю.

– То было осенью 1941-года. Я сидел тогда в лагере под Магаданом и, как говорится, доходил, то есть дни мои были сочтены. Лагерная жизнь тяжелая, безрадостная. Какие там события? Кто умер, кто болен... Ладно. Идем мы однажды вечером с работы. Колонна, у всех руки за спиной. Справа охрана с собаками, слева охрана с собаками. Шаг в сторону – побег, стреляют без предупреждения. Идем молча. Я, конечно, гляжу себе под ноги. Почему? Вдруг что-нибудь валяется на дороге? И вижу: лежит в грязи спичечный коробок. Не раздумывая, сразу цап его и в карман. Иду, переживаю – что в нем? Вдруг бычок от папиросы? Или крошки хлеба, кусочек сала? А может, сахарку?... В воротах повезло: коробок на шмоне не отобрали.

Прихожу в барак, достаю находку и тихонько выдвигаю ящичек. Вижу, в нем лежит скатанная в трубочку бумага. Длинная узкая полоска. Развернул – на ней написано стихотворение. Оно мне так понравилось, что я сразу запомнил его слово в слово. Прямо врезалось в память! “Жди меня, и я вернусь, только очень жди!...” Ну, и так далее. Вы знаете, это лучшее из того, что написано Симоновым во время войны. Но, конечно, никто из нас, эзков, о войне ничего не знал. Нам не говорили! Боялись восстания, что ли? Я решил, что это стихотворение про нас, эзков. Встал и громко, на весь барак прочел стихотворение. Мне бурно аплодировали, словно я артист Лемешев. Все тут же решили, что я написал стихотворение про нас. Ждите, мол, мы вернемся, только очень ждите... Мы ни в чем не виноваты!

Прекрасное стихотворение. Гордый, я лег на нары и уснул. Утром бумажку спрятал в матрас и ушел на работу. А вечером меня в воротах взяли в сторону... Привели к оперу. Оказывается, уже кто-то стукнул. В матрасе нашли стихотворение. И пошла писать губерния! “ Кто и где сочинял? Где взял бумагу, карандаш? Сознаться, кто подсказал тебе слова? Зачем читал вслух в бараке?” Они решили, что я написал про заключенных злостное антисоветское произведение, а читая – распространял его, подбивал эзков к бунту.

Я растерялся. Не знаю, что сказать. Молчу, понимаю, что надо собраться с мыслями, лишь потом можно говорить. А то поздно будет! Тут, спасибо, помог мне опер.

– Иди, говорит, в барак, подумай, что натворил. Даю тебе сроку до утра. После завтрака беги на вахту, все выкладывая начистоту.

Прихожу в барак сам не свой. Надо, думаю, посоветоваться. А с кем? Только с друзьями по нарам. Справа от меня лежал бывший генерал Фредерик Стерн (Клебер). В Испании Клебер грабил церкви. Иконы, золото, драгоценности сдал французской коммунистической партии и вернулся в Россию. Тут его и сгребли за шиворот. Сосед слева сидел законно – он был одним из международных воров. Поляк по национальности. Ох, и хитер же был! Даже в лагере умудрялся доставать колбасу. Каким образом? Привязывал кошку, которая жила на вахте, за длинную веревку и выпускал за колючую проволоку. Она лезла в кладовку и поляк вытягивал к нам с добычей. Но это так, к слову... Так вот, держу я совет с друзьями по нарам: как быть? Оба советуют идти в сознанку.

– Что ты трусишь, Зяма? – рассудительно толковал генерал, счищая щепочкой грязь отнюдь не с генеральских штiblет. – Чем ты рискуешь? Ясно, что стихотворение написал какой-то профессиональный поэт, оно должно быть широко известно, просто здешние лапотники его не читали. Ты хочешь, чтобы рядовой опер знал большую поэзию? Бог с ним... Ты подумай: ну, заведут на тебя дело – и что? Отправят в Магадан. А там теплая тюрьма. Ты же доходишь, того и гляди полетишь с копыт. Еще одну зиму в лагере тебе не пережить. А пока тянется следствие, глядишь, зима кончится. Пересидишь! Не расстреляют же тебя за это проклятое стихотворение...

Поляк говорит:

– Положим, расстрелять могут, хотя и по статье не положено. Но ведь и тут ты скоро подохнешь. Может, даже раньше, чем по приговору.

Лег я на нары и задумался. К утру все же решил: будь, что будет – пойду в сознанку.

Прихожу на вахту к оперу:

– Так, мол, и так, я писал.

– Ах ты, – говорит, такой саякой, святой-немазанный!.. Собирай шмутки и в изолятор.

Действительно, друзья оказались правы: завертелось уголовное дело. Опер провел дознание, передал следователю НКВД. Гляжу, меня переводят в Магадан, в теплую тюрьму. Кормят как подсудственного, таскают на допросы. Все чин-чинарем. Я еще с опером отработал версию до мелочей: да, писал сам, оторвал полоску от бумажки, которую нашел год назад около уборной, карандаш купил летом у кого-то из воров, его сейчас в

лагере нет. Он то ли умер, то ли его перевели куда – не знаю. Нет, никто не советовал слагать стихи на эту тему. Писал сам, я все же журналист.

Конторское дело неспешное: следователь записывает, я рассказываю, во всем признаюсь. Он уточняет детали: где писал? В какое время дня? Кто видел, как я писал? Кто особенно крепко хлопал в бараке, когда читал стихотворение?

А на дворе уже февраль 42-го. Скоро весна! И как раз завершается срок расследования по моему делу – третий месяц на исходе. Я уже подписал 201-ую статью. Была такая статья в УПК РСФСР. О том, что, мол, обвиняемому предъявляется все производство по делу, он его лично читал и ходатайств к следствию не имеет. Какие могут быть у меня ходатайства? Дай Бог, ноги унести от расстрела. А так все прекрасно. Сижу в тепле, на работу не гоняют. Я немного поправился, отдохнул. Что, думаю, будет на суде? В тюрьме я узнал о войне, могли меня по законам военного времени шлепнуть, кто спросил бы за это? У кого рука дрогнула бы?

Проходит еще неделя. Вдруг меня опять дергают на допрос. Что-то, думаю, стряслось. Такого еще не бывало, чтобы после 201-ой опять потащили к следователю. Нервничаю, конечно, страшно. Приводят меня в следственный изолятор, сажусь на привинченную к полу табуретку. Смотрю, напротив меня устроился за столом какой-то незнакомый следователь. Чином повыше моего – майор! У меня даже сердце упало. Все, решил я, шьют мне какое-то новое дело. Нет, гляжу, и этот следователь задает старые вопросы: где писал? с кем советовался? где брал карандаш и бумагу? Бубню по заученному тексту. Тут нельзя пропустить ни словечка – сразу в зубы. Только вижу, майор ведет допрос как-то скучно. Вдруг он откинулся на стуле и ка-ак рывкнет:

– Сам писал, говоришь? Ах, ты, лагерная сука! Это ж не твои стихи!

– А чьи? – спрашиваю.

– Это стихотворение товарища Симонова Константина Михайловича. Оно напечатано во всех газетах. Страна воюет, а ты решил отсидеться в тепле? А ну, мотай в лагерь, зэк вонючий!

Короче, через несколько дней я очутился в своем лагере. Но уже весна, дни пошли теплее. К тому же воры стали давать мне двойную порцию, они очень уважают поэзию, особенно если про них, да еще стихи со слезой... И мне, как поэту, давали добавку. А я действительно любил поэзию, все на звезды глядел. Отсюда и прозвище: Гастроном Астрономович.

Так и выжил! А вполне могли расстрелять. По тем временам убить человека – пара пустяков. Хорошо, что попался грамотный майор. Газеты читал!..

Симонова я встретил лет через пятнадцать после освобождения. В “Литературке”, на одном из юбилеев. У нас такая мода: приглашать на юбилей газеты всех живых редакторов. Пришел и Симонов. Я его отловил в

коридоре. “Здравствуйте, говорю, Константин Михайлович. Моя фамилия Румер, меня из-за вас чуть не расстреляли”. И рассказал ему всю эту историю. Он чуть не упал там, в коридоре. Так что, Мариночка, особого подвига в том, что вы заказали статью самому Симонову, я не вижу...

Зяма закурил папиросу и ушел к себе в кабинет.

Залман Афроимович Румер скончался 20 июня 1981 года. Умер, так и не узнав продолжения этой странной истории стихотворения “Жди меня”. Он, как и все мы, полагал, что знаменитый стих был написан не о эзках, замерзавших на Воркуте и в Магадане, а о воинах, защищавших Россию от гитлеровцев. Во время войны “Жди меня” принесло Симонову всенародную славу. Многие вправду считали, что, если сильно ждать, то это спасет от смерти. Знаю лишь двоих, кто осмелился противостоять этой мистической идее.

Первым назову, пожалуй, Александра Кочеткова. В его “Балладе о прокуренном вагоне” есть бессмертные строчки, спорившие с симоновскими: “И никого не защитила вдали обещанная встреча, И никого не защитила, рука, мелькнувшая вдали...” И конечно же, Андрея Платонова с его “Возвращением”, где вернулся с фронта солдат, а его не ждали. Но это, как говорится, в сторону... А вот, как развивались события в этой истории дальше. Вторую ее часть рассказал мне мой друг, талантливый журналист Виктор Москалев, скончавшийся в 80-х годах от инфаркта. Сын репрессированного, он сумел закончить Московский университет, его послали в Норильск, где он провел несколько лет. Вернувшись в Москву, он работал в “Комсомолке”, “Молодом коммунисте”, в последние годы – в журнале “Спорт в СССР”. Витя считал себя причастным к “норильскому братству”. Однажды, то было 10 февраля 1978 года, он пошел в Центральный Дом литераторов на традиционный вечер, посвященный основанию Норильска и известного металлургического комбината.

Вечер, рассказывал мне Витя, был пышным. За столом президиума сидели ответственные работники, партийные деятели, писатели. “Свадебным генералом” был В.И.Долгих, тогдашний кандидат в члены Политбюро и бывший директор Норильского металлургического, Долгих, который ездил в Узбекистан снимать Рашидова за приписки и коррупцию, и тот застрелился в машине (а может, его застрелили – кто ж его знает?). Вечер вел Константин Симонов.

Публика в зале собралась особая – “северная”: любящая выпить и не умеющая сдерживаться. К тому же буфет работал бесперебойно. Когда докладчик начал завираться и витийствовать по поводу великого подвига комсомольцев, построивших Норильск и комбинат под водительством партии, Давид Кугультинов не выдержал.

– Какой комсомол? – закричал он, размахивая руками. – Лучше спросите, где остались мои волосы? Они примерзли к нам в Норильске.

Где мои зубы? Они остались в Норильске. Костя! – вдруг обратился он к Симонову. – Хоть ты скажи им, ты же знаешь...

– И вдруг, рассказывает Витя, встает Симонов и неторопливо, чуть улыбаясь, заикаясь и картавя, совершенно не обращая внимания на Долгих и прочую чиновную знать, говорит: “Да, товарищ Кугультинов прав. Норильск строили в основном заключенные, это надо признать. У меня там сидел в лагере друг. Еще до войны я написал и отправил ему стихотворение “Жди меня”...

Он прочел стихотворение и сел. В зале наступила гробовая тишина. Длинная мхатовская пауза. Хлопать Симонову не решались. Первым оправился докладчик, привычно продолжавший бубнить по бумажке занудный текст. Долгих сидел в президиуме, как каменный, и не улыбнулся, не показал даже виду, что он слышал Симонова.

Пожалуй, теперь можно поставить точку в этой истории.

Вот только одна мысль не дает мне покоя: не слухавил ли уважаемый Константин Михайлович? Ведь он шел на большой риск, если переправил свое стихотворение “врагам народа”. А если оно ходило в лагерьях до войны, то о нем должны были знать и другие репрессированные. Я расспрашивал многих – никто ничего не помнит!

Я не симоновед. Не копался в архивах, не читал черновики, не знаю, кому, при каких обстоятельствах Константин Михайлович посвятил это стихотворение. В сборниках и подборках “С тобой и без тебя” оно помечено 1941 годом и стоит обычно между прощанием на ночном вокзале (“Ты говорила мне люблю...”) и первым поэтическим репортажем из Бреста (“Майор привез мальчишку на лафете...”), адресовано В.С. , то есть, очевидно, Валентине Серовой. Но так ли это?

Прочитайте внимательно текст стиха и вы увидите: ни единым словом не упоминается в нем война. Нет и намек на взрывы бомб, снарядов, свист пуль, вой мин. Вообще никаких примет кровавой войны. Зато немало примет тогдашнего горького “мира”. “Жди, когда из дальних мест писем не придет...” Что такое “места, не столь отдаленные,” на Руси известно издавна. И конечно, все понимали: “писем не придет” – значит без права переписки!

В моих глазах “Жди меня” было и остается, как сказал один жестокий, но умный политик, правда, по другому поводу, “лучшим произведением бесцензурной печати” Впрочем, быть может, я не прав.

Апрель 1989года, Москва.

Константин Симонов

В.С.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не знал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло. –
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941 г.

“ЛЮБА-ЛЮБУШКА!..”

Саше Зайцеву, другу сердешному

Родился я в Москве, на Ново-Басманной, в большой “Вороньей слободке”. Четырнадцать комнат, два туалета, три крана с водой и две газовые плиты, Наша комната была самой дальней, в конце коридора, и самой громкой – там всегда смеялись. Хотя и жилось, как всем, туговато. Папа работал инженером, мама сидела с детьми. Но очень хотела учиться. Куда, однако, денешь двоих малышей?

И вот однажды она гуляет в скверике у известной скульптуры Шадра “Бульжник – оружие пролетариата” и видит, что стоит молодая девушка. Ну, такая краснощекая, вся в ямочках и подушечках, кровь с молоком. Явно из деревни. То, ее, другое, видимо, я понравился этой девушке, а она – моей маме. И мама решила взять ее в домработницы. Но с одним условием: днем мама ходит в институт, а вечером Люба – так звали девушку – ходит учиться в техникум. И в тот же день она переехала к нам, благо узелок с вещичками был невелик и лежал тут же, на скамейке. Так в нашей семье оказалась моя няня Люба Назарова. Очень добрый и милый человек, в котором я просто души не чаял и звал ее мама-Люба.

Мы ходили гулять, в магазины, вместе убирали комнату. Сестра была старше меня на пять лет и в особой опеке не нуждалась. Помню, как мы вместе с Любой плакали навзрыд, когда я потерял калошу –большую, по тем временам, ценность. И особенно помню ее песни и сказки, которые почему-то никогда не были страшными, а наоборот, очень смешными. И опять из нашей комнаты раздавался громкий смех и хохот. Мама не могла нарадоваться на домработницу, которая оказалась и честным, хорошим человеком.

Но вот прошли годы, я подрос, мама закончила институт и пошла преподавать немецкий в школу, я тоже отправился в первый класс. А Люба закончила техникум и пошла работать на завод, ее взяли в отдел кадров. Мы тяжело переживали эту потерю, но понимали, что жизнь есть жизнь, и Любе надо строить свою семью. Года за три до войны она ушла от нас и стала жить в общежитии завода. А потом постепенно мы потеряли ее из виду, хотя и перезванивались между собой.

Но вот грянула война и разбросала всех по России. Мы уехали в Новосибирск, потом папин завод перевели в Свердловск (Екатеринбург), вес довоенные связи восстанавливались с большим трудом, и Любу Назарову мы никак найти не могли. Звонили на завод – не знают. Дали запрос в адресное бюро – тот же ответ. Пропала Люба Назарова из нашей жизни и как-то постепенно забылась. Осталось лишь воспоминание о ее теплых и нежных руках, остались в памяти ее сказки и песни, осталось на всю жизнь ощущение близкого человека, который когда-нибудь вдруг появится и разделит с тобой горе по поводу потерянной калоши или неудачной статьи.

И вдруг однажды, это было в году 82-м – 83-м, мне звонят из “Литературки” и говорят, что на мое имя пришло очень странное письмо. Прихожу и вижу: фотооткрытка, на ней сняты мы с Любой Назаровой. Я сижу у нес на коленях и такой счастливый, довольный, с бантиком в детских кудряшках. На обратной стороне открытки надпись: “Если Игорь Ачильдиев узнает себя на фотографии, пусть позвонит по телефону номер такой-то”.

Я сразу бросился к телефону, это, конечно же, оказалась мама-Люба, только фамилия у нес теперь была другая. Она вышла замуж за певца Козлова и родила своих детей. И теперь она попала в трудное положение! Дело в том, что один из ее сыновей, закончив технологический институт пищевой промышленности, стал работать на крупном холодильнике в ресторане города Суздаля. Его начальники смекнули, что свои грехи могут свалить на молодого парнишку, и “выбрали” его директором ресторана. Естественно, через несколько месяцев он сел в тюрьму за крупную растрату, которая образовалась с давних пор.

Вот Любочка и решила попросить меня, к тому времени уже мало-мальски известного журналиста, вступить за ее сына. Я сунулся посмотреть приговор – и вижу, что мальчишку просто подставили, заставив даже признать свою вину! Ну, что тут поделаешь? Я решил написать в отдел помилования Президиума Верховного Совета. Аргумент у меня был один: не может человек, воспитавший за свою жизнь честными двух чужих детей, одного из своих троих сделать вором. Тут какая-то ошибка! И поскольку этот “вор” доводится мне почти братом, я прошу его помиловать. Этого они, конечно, сделать не могли, но срок все же снизили, а потом и вовсе выпустили на волю.

А мы с мамой-Любой снова сблизились, она оказалась очень милой и добродушной старушкой, только сильно ударилась в религию. И муж у нее не унывал. Оказывается, это он, будучи во время войны в армейском оркестре, написал своей будущей жене известную песню, которая прогремела по всей стране: “Люба-Любушка, Любушка-голубушка! Я тебя не в силах позабыть. Люба-Любушка, Любушка-голубушка: сердцу люблю

Любушку любить!” И каждый раз, когда мы приходили к ним, он, уже старый, истрепанный войной и трудной жизнью человек, пел нам эту песню. А однажды Любушка, когда я уходил домой, обняла меня в передней и шепнула: “Ты думаешь, почему у нас, на Басманной, в комнате всегда было весело и никого не взяли в тюрьму? Ты уж должен простить меня, это я отвечала за вас, за вашу семью, за всю квартиру перед “органами” – всех берите, писала, а Ачильдиевых не троньте, они люди ни в чем не замаранные, чистые”. Мне и верили. Я ведь тогда “стучала” на многих, до сих пор свои грехи отмолить не могу”.

Через год она померла. Вот такая история.

*Алла Киселева**СТРАНИЧКИ ИЗРАИЛЬСКОГО ДНЕВНИКА*

1

ИМЯ ДЛЯ ПОПУГАЯ.

Уезжать в Израиль тетя Женя не собиралась. Настаивал больной муж. «Там мне не дадут умереть»,— твердил он как заклинание. И тетя Женя засуетилась, забегала по ОВИРа́м, ЖЭКа́м, посольствам, собирала справки, оформляла доверенности, что-то продавала. После двухмесячной беготни она погрузила в самолет мужа и попугая Яшку, испуганно нахолившегося и, казалось, напрочь забывшего весь запас выученных слов. Потом был аэропорт Бен Гурион, маленькая квартирka родственников в Араде, больница, бессонные ночи, смерть дяди Саши, похороны. Оставшись одна, тетя Женя переехала к брату в Ришон. По утрам выходила на местный «Бродвей», рассматривала витрины, потом возвращалась и до вечера проводила время у телевизора. Ни в одном из крупных городов Израи́ля она не была. Даже в Иерусалиме. Приехав к ней в гости, я попыталась исправить эту непростительную оплошность, затолкала тетю Женю в конечно же опоздавший экскурсионный автобус русской фирмы «Глобус», и мы отправились в вечный город.

И вот мы уже на высоком холме. Перед нами весь Иерусалим. Иерушалаим. Беспорядочно разбросаны по нему христианские храмы, синагоги, мечети, современные фешенебельные небоскребы и одноэтажные арабские домики с красными крышами. Впрочем, не беспорядочно. Арабы — справа, евреи — слева. Если смотреть на город сверху, эту границу видишь четко. И также четко видишь на арабской территории хорошо известный по путеводителям, блестящий купол мечети Эль Акса. Когда-то стоял на этом месте Бет Амикдаш — Первый Храм, воздвигнутый царем Соломоном. Издали он казался подножием горы, покрытой снегом, такими белоснежными были его стены. Местами покрытые золотыми плитами, они так сияли в лучах восходящего солнца, что идущие в Иерусалим паломники вынуждены были отводить взоры. И чтобы птицы не оскверняли святое место, водружены были в вершину купола золотые шпильи. Не в память пи о Храме называем мы и сегодня Иерусалим золотым.

Шли столетия, менялись правители, стоял Храм, пока не вошли в город войска Навуходаносера, (того самого, которого увековечил своей оперой Верди) не пленили еврейского царя Цидкиягу, не увели народ в Вавилон и не сожгли Бет Амикдаш. 50 лет плакали евреи на реках Вавилонских, но потом вернулись в землю обетованную и построили новый Храм. И снова шли столетия, снова менялись правители, и снова в горестный день 9 Ава был сожжен Бет Амикдаш.

А в 8 столетии нашей эры халиф Валид построил на Храмовой горе мечеть в память о том дне, когда с этого места был вознесен на небо пророк Мухаммед. Мечети повезло больше, чем Храму. Войдя в город, крестоносцы не сравнивали ее с землей, а устроили в ней свою резиденцию. Так на месте древнего камня, на котором Авраам готов был принести в жертву своего любимого сына Ицхака, сошлись три религии. И по сей день верующие помнят о боли и страданиях своих предков, по сей день не могут поделить этот кусочек священной земли между собой. Хорошо, когда люди ничего не забывают. У народа должна быть долгая память. Если народ забывает свою историю, он перестает существовать. Но если память долгая, она хранит и печальные примеры бесполезных междоусобиц и кровопролитий, если память долгая, она учит не забывать о погибших от рук религиозных фанатиков, если память долгая, она напоминает, что в самом названии города Иерусалим, вопреки его кровавой истории, тот же корень, что и в слове, которое несколько раз на дню повторяет в молитве и еврей и мусульманин: Шалом – мир Вам!

Обо всем этом рассказывает нам с тетей Женей наш гид, смешная маленькая девочка Вика. А ведь история повторяется. И сегодня мы не едем в Бет Лехем, там могут закидать камнями палестинцы, значит нам не увидеть могилы Рахэли, не увидеть восточных склонов Иерусалима, на которых когда-то встретились Руфь и Боаз, давшие миру Ишая, отца царя Давида. А арабы интересно забегают сегодня в еврейский квартал? В свой они нас пускают похоже с опаской. Раздули же они на прошлый Суккот настоящую бучу с тоннелем Хасмонеев. Сегодня вроде успокоились. Во всякой случае мы с тетей Женей по нему проходим. Поспешно в тускловатом свете пишем записочки и вкладываем их между огромными плитами правой стены туннеля – она ведь продолжением некогда построенной Иродом Западной стены города, единственного уцелевшего кусочка древнего Иерусалима. Интересно, о чем просит Бога тетя Женя. Хотя почему обязательно просит? По-моему, это христианство распределило святых по отделам – этот по снабжению – у него попроси удачи в делах, а этот из отдела здравоохранения – попроси от хвори исцелить. Я смотрю на тетю Женю и понимаю, что она ничего не просит, она благодарит. Благодарит, что привел ее Господь на старости лет в Землю обетованную, что довелось ей увидеть все это своими глазами, прикоснуться к древним камням, к истории своего народа. И пусть время сегодня не самое лучшее, ведь даже Рамбаму не дано было увидеть Иерусалим во всем его величии. Великий мыслитель прибыл в город после того, как его практически

оставило еврейское население, бежавшее от татар. Но он был счастлив, что стал свидетелем строительства новой синагоги, свидетелем того, как из города Шхем возвращены были в Иерусалим свитки Торы, свидетелем того, как начали съезжаться в город евреи из Дамаска и Цовы.

И сегодня в Иерусалим стремятся евреи всего мира. Наши – тоже. Во всяком случае все мои друзья живут здесь. Чем они занимаются? Кто-то пишет, кто-то издает, кто-то преподаёт английский, кто-то учит музыке. А когда зашемит где-то в груди, большинство берет гитару в руки и мчит в парк Гонсакер, что у Кнессета. Нет, не на заседание парламента, а так на слет, на тусовку, на.., как еще это у нас когда-то называлось. Разжигают костры среди сосен, таких наших, российских, и поют Булата, Володю, свое. А может из-за сосен они все тут, в Иерусалиме?

День идет к исходу. Мы садимся в автобус, спускаемся по южному склону вниз к дороге на Тель-Авив. Старички устраиваются поудобнее, готовясь вздремнуть. Но наша Вика неугомонно продолжает что-то рассказывать. «Видите, вон там маленькие, крытые жестью грузовички на обочинах. В них везли хлеб в осажденный Иерусалим.» Только было провозглашено образование государства Израиль, как Египет уже бомбил Тель-Авив, а иорданцы устремились к еврейскому кварталу. Иерусалим – в осаде. С трех сторон – севера, юга, востока. Старички не выходят на строительство баррикад. Они уверены, Бог не отдаст священный город. Они молятся. Все, что у них есть – это Западная стена. Но именно ее у них собираются отнять. Их бомбят. Им нечего есть. Большую часть дня их заставляют проводить в убежищах, но в назначенные часы, усталые, изможденные, они возвращаются в молитвенный зал у открытого Арон Кодеш и изливают душу перед Всевышним. Они молятся о городе и его жителях, о детях и женщинах, о тех, кто отстаивает Иерусалим на баррикадах, о тех, кто везет им продовольствие на маленьких, наспех крытых жестью, грузовичках.

Становится совсем темно. Мы въезжаем в Тель-Авив, направляемся к тахана меркадит – центральной автобусной станции. Надо еще разыскать автобус в Ришон. Нет, уже не надо, кто-то машет тете Жене из машины рукой и кричит ей что-то на иврите. «Что он говорит?» – спрашиваю я. – «Думаешь, я понимаю.» – «Кто это?» – «Не знаю, где-то я его видела.» Я пускаю в ход свой английский. «Тетя Женя, он говорит, что Вы ему попугая подарили, и что Йоффи – хороший, только мало говорит, но он нас все равно отвезет, если Вы все еще там же живете, ему по дороге.» – «Какой еще Йоффи?» – возмущается тетя Женя. – «Яшка он. Яшка. Говорит мало! А он с ним сам на каком языке разговаривает? Даже имя не выучил. Яшка!»

Но в машину к нашему неожиданному покровителю мы все же сели и даже позволили ему довезти нас домой. Оказалось, тетя Женя и впрямь подарила ему Яшку в благодарность за то, что он возил ее два месяца в больницу к деде Саше. И вообще, он человек хороший, только имя попугаю переделывать было

ни к чему, пусть он теперь и живет в Израиле, но родом-то все-таки из России. И чем не имя Йаков?

2

РУССКАЯ НЕМКА

С Катей я познакомилась в тель-авивском ресторане Дома журналиста. Услышала немецкую речь за соседним столиком. Сначала я приняла ее за идиш и удивилась – говорят, в Израиле язык этот не в чести, да и в Берлине, где на нем говорили когда-то тысячи евреев, сегодня его не услышишь. Потом я поймала себя на том, что понимаю каждое слово – значит – это все-таки немецкий – мои знания идиш оставляют, к сожалению, желать лучшего.

Заметив мое недоумение подруга Полина, ведущая одной из рубрик русской радиостанции РЭКА (она-то и привела меня в Дом журналиста), рассмеялась: «Родную речь услышала... Не удивляйся, это наша Катя. Прекрасные экскурсии делает для Союза писателей. На немецком и русском. Она же – русская немка.»

Потом выяснилось, что Катя – никакая не русская, и никакая ни немка. Но в этом ничего удивительного. Все мы «меняем» национальность при переезде. Теперь ведь и в Германии есть «русский Берлин», и «русские» общины в новых землях. Катя родилась во Пскове. Гордится, что окончила там в свое время университет, ведь выпускниками этого же университета были писатели Ю. Н. Тынянов, В. Каверин, профессор Зильбер, подаривший России пенициллин. Катины родители – немецкие евреи – приехали в Псков в конце 30-х. Они не были коммунистами, скорее идеалистами, романтиками – верили в светлое будущее человечества и в то, что его можно построить в СССР.

Недостатка в романтиках в катиной семье не было никогда. Прадед приехал в конце 19 века в Эрец Израэль, тоже строить счастливое будущее. Катя помнит его дневник. Маленький кораблик, почти лодочка, в котором десяток евреев, подплывает к берегу. Единственный тогда порт Израиля – Яффо, да и не Израиля собственно, а Палестины, открывается их взорам. Золото и синева. Синева бескрайнего южного неба, лазурь теплого, мирного Средиземного моря и золото песков, тех самых песков, которые скоро безжалостно поглотят тысячи переселенцев. Но тогда они еще не знали, что их ждет. Они были счастливы, что наконец добрались до старейшего порта мира. Яффо – центр Тель-Авива, Сегодня в нем живет лишь 500 тысяч, но для Кати – Тель-Авив – это только Яффо и его окрестности. Современный

полуторамиллионный город здесь ни при чем. Его построят позже. Значительно позже.

А пока – есть лодочки с переселенцами из Европы и песчаные дюны. На них родятся первые два района, между ними проложат первую улицу, на ней поставят первый фонарь и первый киоск, в котором строго-настрога запретят продавать спиртные напитки. А потом построят гимназию. Вокруг нее и начнет расти город, особый город – «у евреев все ни как у людей». Обычно города возникали вокруг крепостей, а тут – вокруг школы.

Название города подсказал Танах. Именно там упоминается поселение на песках у Средиземного моря, которое построили евреи, вернувшись из Вавилонского плена. «Тель» – на иврите «холм», «Авив» – «весна, надежда, возрождение». У евреев всегда была надежда на возвращение на родную землю: у тех, наших далеких предков, скорбевших на «реках Вавилонских», и у первых сионистов, таких как катин прадед. А может название города подсказал своей знаменитой книгой «Altneueland» Беньямин Зеев, известный всему миру как Теодор Герцель, ведь в переводе на иврит она называлась «Тель-Авив». В Тель-Авиве Герцеля помнят и чтят: ему поставлен памятник на выезде из Большого Тель-Авива. Для Кати – это памятник и ее прадеду и сотням таких, как он первых переселенцев – напротив него, по другую сторону автострады – установлена деревянная лодочка, точно такая, что описана в дневнике ее прадеда

Сегодня Тель-Авив – один из трех крупнейших городов Израиля. В стране бытует поговорка: «Иерусалим молится, Хайфа работает, Тель-Авив развлекается». Катя с ней решительно не согласна. «У нас везде работают, а уж в начале века в песчаных дюнах евреям было не до развлечений.»

И правда, Земля обетованная встретила их неприветливо. Пески, болота да малярийный комар. Сажали эвкалипты, чтобы иссушить топи...Только порой казалось, что все бесполезно, ничем уже не возродить эту умиравшую три столетия под турецким владычеством землю...Но люди оказались сильнее времени, или упрямее. Уезжать не хотели, теперь ведь эта земля стала еще роднее – теперь уезжать пришлось бы от могил близких. Так что напрасно предлагал барон Кирш первым переселенцам земли в Аргентине. Они остались и продолжали бороться с болотами и песками. Прадеду Кати повезло: он был среди тех 20%, которым удалось выжить. И не только выжить, но и победить болота. Сегодня на их месте цитрусовые сады. И не только сегодня. Уже давно. Еще в 60-ые мы поехали в Союзе апельсины из этих кибуцев, апельсины с наклейками «Яффо», апельсины, которые у нас назывались марокканскими – об Израиле тогда говорят не любили.

А в стране выращивали цитрусовые. И не только их. Еще сажали виноград. Да и как было не сажать, если сама гора неподалеку от Тель-Авива называлась веками «Кармель» – «виноградник Господа». Рядом с ней, а вовсе не с Араратом, по мнению Кати, высадился когда-то Ноах, разбил свой виноградник, собрал урожай, приготовил вино и... напился. «Первый наш

пьяница, о котором рассказывает Тора», – смеется Катя. Так или иначе, но первые переселенцы действительно разбили у подножия горы виноградники. Не без помощи семьи Ротшильд. Немало средств отпустил барон на первые посадки, так что по праву и сегодня стоит на израильском вине эмблема винных заводов Ротшильда. Два маленьких гордых человечка несут на перекладине огромную гроздь винограда. Кто они? Я не знала, хотя эмблему видела ни раз. Рассказала Катя. 400 лет жили евреи в рабстве. Но пришло время и пошли они за Моисеем, прочь из Египта, в Землю обетованную. Но на границе земли предупредил их Господь, что нелегко будет им войти туда, ведь заселена она уже другими народами. Решили послать разведку: 12 человек – по одному от каждого племени – чтобы решить, стоит ли идти дальше, стоит ли входить в Эрец Исраэль. 400 лет жили евреи в рабстве, 40 лет шли за Моисеем по пустыне, 40 дней ходили по Земле обетованной 12 разведчиков. 10 вернулись с предостережением: там крепости, там воины, идти страшно. И только двое убеждали: земля эта прекрасна, стоит идти. В подтверждение своих слов принесли они огромную гроздь винограда. Так и несут ее поныне, гордо шагая по всему свету.

Я не сказала Кате, что увидела этих человечков впервые, на бутылке кошерного вина на своем первом немецком Седере в нашей общине на Heinrich Mann Allee в 1991 году. А может и надо было, ведь Катя – «русская немка».

Jüdische Gemeinde Land Brandenburg:
Am Lehnitzsee 14
14476 Neu Fahrland
Tel./ Fax: (03 32 08) 68 06 14-18

Jüdischer Kulturverein Berlin e. V.
Oranienburger Straße 26
10117 Berlin
Tel./Fax: (030) 282 66 69

